

**ОЛЬГА
ГУССАКОВСКАЯ**

**ПЕРСИКОВАЯ
КОРОБКА**

Повести



Писательская организация
Кострома
1997





ДВЕРЬ В ВОЛШЕБНУЮ СТРАНУ

Откуда берутся достоинства личности, лучшие душевые качества, художественные задатки, творческие устремления? От каких корней-истоков набирает человек собственное душевное богатство, что определяет его неповторимость? Кто приоткрывает однажды двери к пониманию простого повседневного мира труда и житейских забот или к загадочно-волшебному миру мечтаний и надежд? Неравнодушные люди — творческие работники — обязательно задумываются над подобными вопросами, отдавая предпочтение тем или иным обстоятельствам, в зависимости от меры таланта, личных идеалов, целей и притязаний.

«В тот день впервые приоткрылась для меня дверь... я и сама не знаю — куда? В другое измерение? Но с тех пор и до сегодняшнего дня я изредка вижу то, что недоступно другим. И увиденное всегда упоительно прекрасно», — написала Ольга Гуссаковская. И неназойливо подчеркнула, что немногим в повседневной суete дано оставаться с мыслями о прекрасном. Немногие способны найти и ценить любимый цветок, звук, аромат... Немногие способны, скажем, продолжая этот ряд, углядеть среди однообразия обыкновенных женщин сказочную королеву, царевну или принцессу — на это необходимы талант и терпение. Впрочем, и немногие женщины — представительницы прекрасной половины человечества — достойны такого восприятия-поклонения. Народная мудрость передает от поколения к поколению поучительные сказки. Напомню одну из них о царевне-лягушке: «Эх, Иван-царевич, Иван-царевич! Зачем сжег мою лягушечью шкурку! Потерпел бы ты еще три дня, и я вечно была бы твоей. А теперь ищи меня у Кощея Бессмертного».

До сих пор в дружеских или дорожных беседах прорывается мужская тоска по кроткой и нежной женщине: где, мол, теперь ее взять? Среди замотанных бедностью, неустроенным

бытом или среди шикующих, праздно болтающих; среди курящих, пьющих девах или на одном из многочисленных конкурсов красавиц, претендующих на звание «мисс»; среди безработных, стоящих на учете, или среди терпеливых тружениц в деревне? Но не увеличилось с начала века число «джен-тльменов», мечтающих связать свою судьбу с бой-бабой в кожаной куртке, смелой при нагане на бедре. И мало желающих выстраивать семью с циничной, разболтанной кралей.

Еще сохраняется тоска о живительной женственности, томной нежности принцессы и таинственном обаянии мадонны. Иногда возникают дискуссии о красоте, которая призвана в союзе с добродетелью спасать мир. Иногда заштатные говоруны толкуют о предназначении раскрепощенной женщины. Многие ждут от нее неувядающей красоты, нежности, скромности и чистоты, не утруждая себя вопросами: что любит современница, почему так выглядит, чем опечалена? И в жизни, и в литературе сказываются манипуляции общественным сознанием, задающие отношение к прекрасному полу «рыночными» установками. Даже в так называемой женской прозе набрался фонд каких-то странных, нервических и высокомерных сочинений. Пошла в моду клановая, «барская» литература, состыкованная с пренебрежением к народной жизни. И женская проза начала омуничиваться, грубеть, утрачивать совестливость? Разве и для нее нет запретных тем, запретных натуралистических описаний ради разоблачения (без сочувствия) всех несовершенств современной женщины? Разве утрачена необходимость созидания и осмыслиения идеала — всего того, что делает женщину в лучших ее проявлениях царевной?

Много горькой и жестокой правды рассказано, и, оказывается, все еще мало, надо вновь и вновь полоскать «нелюбимую» в пьянстве, матерщине, табачном дыму и блатном жаргоне? Иногда в провинциальных условиях вдруг явится светлое и душевное бытописание, читаешь новую повесть или хороший рассказ с предчувствием открытий и надеешься, что явится произведение, воспевающее способных стать принцессами.

Вспоминается повесть Ольги Николаевны о судьбе девочки, встретившей испытания военного лихолетья. Другая — о вступлении подростка в юность, о горестях и радостях, приходящих за порогом детства. Одна — о молодых строителях, другая — о большой семье, написанная с глубоким вниманием к социально-нравственным проблемам народной жизни, к непреходящим ценностям. В семидесятом году писательница впервые выступила с повестями для детей. До этого ее произведения были адресованы взрослым, рассказывали о далекой северной окраине — магаданской стороне, куда Ольга Гуссаковская приехала

ла после окончания исторического факультета. Для детей были написаны три повести — «Татарская сеча», «Так далеко от фронта», «Повесть о последней ненайденной земле». Они оказались объединены мыслями об утверждении великой силы деятельного добра, о глубокой ответственности человека за все, что происходит вокруг. Вспоминаю повести с хорошими названиями: «Ищу страну Синегорию», «О чем разговаривают рыбы», «Порог открытой двери», «Незабудки на скалах», «Запах печного дыма», «Перевал Подумай».

К повести «Порог открытой двери» взята эпиграфом народная мудрость — такой человек: дверь откроет, а о порог споткнется. Эта мудрость определяет философское содержание повести о вступлении подростка в юность. Но ведь и на пути взрослых, когда они определяют, в какую сторону идти, встречаются высокие пороги. В судьбе писательницы они тоже появлялись не раз.

Ольга Николаевна — костромичка. В Магаданской области она работала преподавателем истории, литсотрудником в газете, корреспондентом на радио и редактором в книжном издастве. Первый рассказ опубликовала в альманахе «На Севере Дальнем». Через два года вышла первая книга «Дорогой приключений». Затем — учеба на Высших литературных курсах. Четверть века назад вернулась в Кострому, много лет работала литературным консультантом в областной писательской организации. Заслуженный работник культуры. О себе она рассказывает с предельной, даже с какой-то отчаянной откровенностью. Обнаженность чувств и глубоких размышлений о собственной судьбе прорывается не только в творчестве, но и в интервью для газеты. Творческая натура — особенная. Вот споткнулся талантливый человек об один из последних порогов, и возникает необходимость жестко взглянуть на себя. Жестко, аналитично. С беспощадной открытостью. Происходит это, на мой взгляд, именно в период напряженной работы над итоговым, сложным и глубоко сокровенным, романом... Отчаянную открытость талантливого человека необходимо воспринимать и ценить по высоким, а не по обывательским законам.

Издаваемая книга — две повести «Семь весенних гроз» и «Персиковая коробка» — предполагалась в большем объеме, но третья повесть «Скамья» при нынешних финансовых возможностях не «вошла». Хотя и две повести подтверждают читателям справедливость затронутого в предисловии. В работе — объемное повествование «Освобожденная Колыма», для которого требуется и легко ранимая, чувствительная, но и совестливая, даже застенчивая женская душа.

С любви, юношеской, чистой и мечтательной, начиналась дорога от родного порога, начинался жизненный путь. Сколько же на этом пути было порогов, сколько пережито, передумано?! Жизнь, воспринятая собственной судьбой, — лучший опыт для творческого человека. С возрастом приходит непреодолимое желание оглянуться на себя и других, чтобы понять собственное отношение к миру, к судьбам тех, кто небезразличен. Хочется найти, почувствовать, осознать индивидуальные, личностные истоки. В этом стремлении не укроешься за литературными приемами, за художественным вымыслом. Повествовательный стиль все чаще перебивается, все более тяготеет к эпистолярному. Иногда неоправданное использование иностранных слов затрудняет чтение-восприятие. И все же получается хорошая интимно-биографическая проза с конкретикой лиц, места и времени.

Откуда есть ты, неповторимая и по-своему одинокая дворянка — представительница родовой неприукрашенной действительности? Перед таким вопросом требуется полное доверие воспоминаниям, собственным чувствам, печалим и радостям. Обе повести привлекают воспроизведением пережитого способом «кинематографического» наслаждения. Доверительная точность достигается и усложнена сдвоенным взглядом — глазами девочки, совсем еще маленькой, и умудренной талантливой женщины. Таким сочетанием заостряется художественное зрение, позволяющее ослабить авторскую субъективность. Потому и достигается ощущение исторической достоверности. Изломы жизни, деформация чувственного отношения к быту костромской провинции первой половины двадцатого века, вызванная многими обстоятельствами. Открытая «Персиковая коробка» повествует правду увидания дворянского рода. Эта правда свободна от идеологических и политических пристрастий. В книге, может быть, все еще живут цветы, кем-то оставленные на пороге открытой двери. Они способны видящего их и чувствующего спасать от мучительного отчаяния, краткого или затянувшегося одиночества. И приглушают виноватую тоску по ушедшим давно. Утешают в размышлениях «и еще об одном: арестованные по наветам начали исчезать чуть ли не со дня моего рождения, — пишет автор, — но простой люд словно бы и не ведал того».

В этой жизни важно знать, что дверь в волшебную страну изредка приоткрывается. По словам автора, приоткрывается для тех, кто в здешнем мире лишен драгоценнейшей радости исполнения желаемого страстно...

Михаил БАЗАНКОВ

СЕМЬ ВЕСЕННИХ ГРОЗ

Таинственной невстречи
Пустынны торжества,
Несказанные речи,
Безмолвные слова.

Анна Ахматова





Минули обещанные мне в далекой юности семь весенних гроз. Круг замкнулся. И я должна рассказать тебе о прошедшем, чтобы ты понял сегодняшнее.

Если бы я могла просто сесть в кресло напротив тебя так, как однажды сидела. И говорить... Но у меня нет такой возможности.

Может показаться странным, почему я решила говорить «ты» человеку, с которым едва знакома. Какое у меня право на это? Одно: непреодолимость жизненных барьеров. Мы живем в одно время, но и только. К мысленному же собеседнику своему я могу обращаться как угодно. Поэтому пусть будет «ты».

...Однажды на Колыме я отправилась за горной малиной. Расти она по кручам среди стеклянного серого сланца. Не поймешь, на чем и держатся седые, комковатые кустики? От любого неловкого движения сланец начинает «плыть» и с медленным звоном осыпается в пропасть. На дне пропасти — бешеная зеленая вода Бохапчи. А другой ее берег совсем близко, руку протянуть. Но до него не добраться, разве что вырастут крылья... Это отлично понимала и я, и моя серая лошадь-якутка, и матерый, рыжий от старости медведище, лакомившийся малиной на том берегу Бохапчи. Часто, очень часто в жизни мне приходилось потом смотреть на близкий и недостижимый берег.

Я сейчас не помню, что говорила тебе при встрече. Кажется, ничего особенного.

Впервые в жизни я оказалась за кулисами театра. Было так, словно увидев сначала цветущее дерево, я затем очнулась среди темного сплетения его корней. Низкие потолки, тяжелые стены, неуловимые петли переходов и, наконец, комната без окон. Случайная мысль: зимой и летом тут светит лампа, сиротливо перекинутая через створку трельяжа. Не сменяются времена года, не живут цветы. Я не смогла бы и часа мириться с этой комнатой. Она для меня как бы вопло-

тилась в аквариуме с мертвой зеленоватой водой, стоявшем на столе в углу. Сколько лет приходил сюда ты? Я не спросила тебя об этом. Вообще ни о чем не расспрашивала — ведь наша встреча была случайной. По просьбе моих друзей ты пригласил меня на спектакль со своим участием, о котором много говорили. Но именно эта встреча и решила все. Потому что десятки раз видев тебя до этого на экране, я не замечала твоего сходства со Стасом. Я скорее предчувствовала его, потому мне и были симпатичны твои герои. В жизни это сходство поразило меня так, что я не помню ни твоих, ни своих слов в тот вечер. Даже и спектакль не отвлек меня от внезапного потрясения чувств. Не знаю, хорош он был или плох?

...А много времени спустя деревенский мальчик показал мне открытку. Он дорожил ею — выменял у дружка на рогатку с настоящей резиной. В деревню Иерусалим не привозили открыток с фотографиями артистов кино.

Словно грибники забрали в самую глушь костромских лесов деревеньки со странными именами: Рай, Иерусалим, Питер... Заблудились и забыли о времени. Непреклонно прямые ленты асфальтированных шоссе оббегают их стороной. К деревняшкам, петляя по оврагам, по холмам плетутся пыльные проселки. Ездить по ним можно лишь посуху, да и то не спеша. От давности дороги эти обросли сказками, как старое дерево — мхом.

Ехали мы ночью. Над редкими от давней засухи колосьями пшеницы висела раскаленная луна. Извилистые речушки со звонкими деревянными мостами, втрое больше своей летней ширины, напоминали Колыму. Но высокое плотное чернолесье так отличалось от изреженной и зябкой лиственной тайги, что сходство мгновенно исчезало.

Иззубренная лента древесных вершин утомила глаз, но вот на повороте словно темное облако приникло к лесу и уже не исчезало, а только темнело и росло на глазах.

— Разинская сосна... — сказал мой попутчик. — Скоро будем на месте.

— Почему разинская? И неужели это живое дерево? — заинтересовалась я. Скуки как не бывало.

— Разинцами, говорят, посажена в память об атамане. Они первыми пришли в эти места. А может, и не так было, я не знаю... Но дерево никто и пальцем не трогает, хоть стоит оно возле самой дороги. Говорят: несчастье случится с человеком, если он хоть веточку обломит с той сосны.

Сосна величаво проплыла мимо нас. Неоглядного раз-

маха ветви сходились к вершине ровным конусом, но где кончались — в сумерках не разглядеть. Просто уходили в небо. Помню, я подумала тогда, что после такого вступления меня и дальше должно ждать необычное.

И вот первое — встреча с тобой. Открытка в ручонках деревенского мальчика. Звали его, как многих здесь, Висарик, Виссарион. Имя это прижилось в деревне Иерусалим.

Познакомились мы с Висариком сразу по приезде. Только я вышла из машины, как увидела безмятежно голубые глаза на веснушчатой деловой мордашке. Глаза эти смотрели на меня в упор. Отвернулась, взяла чемодан — опять они передо мной. Взглянула вдоль улицы, соображая, куда теперь идти — снова то же самое. Не мальчик, а какое-то чудо, можно подумать, что глаз у него — сто. Ничего не оставалось, как только познакомиться с ним поскорее. А мальчионка только того и ждал. От глаз его я не отвязалась, а в вопросах его скоро начала тонуть, как жук в луже. Висарик еще никогда не покидал родной деревни, а знать ему хотелось всякой всячины гораздо больше, чем городскому мальчишке.

На открытке смутно проступал кадр из нашумевшего фильма.

— Ты хоть картину-то видел? — спросила я у Висарика. Висарик качнул ногой.

— Не-а... Мамка денег не дала, когда эта картина приезжала. Другую видел. Он там вора играет. Во!

Висарик в знак одобрения взмахнул обеими руками и чуть не свалился со своего настеста.

Сидел он боком на покосившемся могильном кресте. Я — напротив на травяном холмике безымянной могилы. Черные ели отгораживали нас от мира и от глаз шалой мачехи Висарика. О заброшенном «староверском» кладбище в деревне не вспоминали иначе, как шепотом, перекрестившись. И потому на десятки верст вокруг не нашлось бы более тихого и светлого места.

— Свалившись, крест-то гнилой!

— Этот? Да он еще сто лет простоят! Потому: разбойника тута похоронена. Видели?

Висарик подвинулся, и я кое-как разобрала на древней с прозеленью меди славянскую вязь: «Господи, прими с миром душу рабы твоей многогрешной, Марфы Шитиковой, разбойницы». Слюдяные лепестки лесной хлопушки ласково касались надписи. Неприметным цветком тянулась к свету и теплу всеми забытая душа русской крестьянки.

— Против кого же она шла, разбойница Марфа? — спросила я скорее саму себя.

— Не знаю, — небрежно ответил Висарик. — Тута их цельная деревня — разбойников. Так и зовется: Разбойница. Во-он там за ельником. Где самолеты.

Ельник сбежал с косогора к тихой речке Скитнице. А на луговом ее берегу грелась на солнце стая больших серых саранчуков-самолетов. Один прыжок — и они в телевизионном и нейлоновом настоящем современного города. Но между аэродромом и кладбищем река. На том берегу, где мы, отлично уживаются разбойники и самолеты.

Солнце медленно спускалось за черные крестовины слей. Лучи его уже не падали сверху, а высвечивали каждую травинку, красили каждый цветок: синие головки короставника, белые блюдца ромашек. Между стертых временами могил цветы росли не стеблями, а купами, как в лугах моего детства. Не обобранные туристами, не тронутые косой. А под ними пряталась спелая лесная земляника, от которой по всему косогору струился легкий медовый аромат.

Деревянный забытый скит вскормил сильную молодую рябину, и она, как любящая дочь, прикрыла ветвями дряхлые стены, оберегала от зимних ветров. Страх и горечь давно покинули зеленый холм, и я понять не могла, чего боятся люди? Висарик думал точно так же: он не первый год спасался здесь от мачехи в трудные минуты. Знал каждое дерево, каждый камень. Меня привел сюда не сразу. Присматривался сначала.

— А вы его знаете, этого артиста? — спросил Висарик. Раз я приехала из большого города, так уж, конечно, должна была знать всех.

— Знаю, — ответила я. — Но еще лучше я знала когда-то мальчика, который был очень-очень на него похож.

— Похо-о-ож? На артиста? — Висарик недоверчиво покачал ногой. — Рази на артистов кто бывает похож? Не-а... Вот я рази похож на какого артиста? А в деревне у нас кто похож? Никто! А в ней людей-то во-она сколько. И не сосчитать сразу-то!

Что тут можно было возразить? С нашего холмика столенный град Иерусалим виднелся как на ладони. Два ряда высоких северных изб с крытыми воротами, обвитыми хмелем, и единственная улица, которую год за годом теснила гусиная трава. Плакучие березы склонились над зеленым прудом. Чуть выше — черный остов мельницы. Быстрые паль-

цы водяных струй перебирают космы тины на стволах запруды. На юру новый клуб, магазин и школа в бывшем кулацком владении. Не так уж много времени потребовалось бы мне, чтобы пересчитать всех жителей Иерусалима. Да стоило ли? Висарик прав: нет в Иерусалиме похожих на артистов людей. Но мальчик и невдомек, как печальна бывает похожесть. И еще, как трудно быть тем, кому люди захотят подражать. Стас родился артистом, но не хотел мириться с этим. В военные годы почти никто не мечтал о сцене.



Это началось близко к весне сорок третьего года. Когда именно — не помню. Те годы почти не делятся в памяти на месяцы и вовсе не делятся на недели и дни. Наверное, до настоящей весны было еще далековато, потому что в школьном зале стояла стужа. Помню только, что в окна ярко светило негреющее солнце. А в зале шел концерт: выступали артисты, эвакуированные из Ленинграда. Тех, кто пел или читал стихи, я не запомнила, хотя, возможно, они делали это хорошо. Просто стихи и песни были доступны и нам самим, а разницы в исполнении мы еще не понимали. Но вот сказали, что теперь выступит балерина — и все замерли. Потому что за этим словом таилось новое и непонятное: в наш городок и до войны не заглядывали оперные труппы.

Сначала на сцену вышел мужчина с вислым носом, державший в руках скрипку. Немного повозился со смычком, скрипка пискнула и нехотя затянула незнакомую жалобную мелодию.

Но я не слышала ничего, я только смотрела. Потому что на сцене появилась балерина.

И опять я не знаю, что за танец исполняла эта женщина и как выглядело ее лицо? В памяти остались только глаза: большие, испуганные, показавшиеся мне вообще лишенными цвета. И тело в тряпочках линялого шелка, напоминавшее выстаревшую лозу хмеля. Движения ее рук и ног выглядели разорванно и странно: ничто следующее не продолжало предыдущего. Большие ступни ног, когда она опус-

калась с носков, распластывались на полу беспомощно, как лягушечьи лапы.

Ее танец терзал сердца, на него невозможно было смотреть, и я начала оглядываться по сторонам.

Впереди дурашливо хихикали и пихались локтями первоклашки. Сзади кукарекнули, хрюкнули — начиналось развлечение. И тут я приметила незнакомого мальчика.

Он был много старше меня — лет на пять, а то и больше. Это значило: из другого мира. И по законам уличной жизни он не имел права на жалость. Хотя бы на внешнее ее проявление. А он не просто жалел балерину, он мучился вместе с ней и ничуть не скрывал этого. Каждое ее движение мгновенно отражалось в его быстрых светлых глазах, судорогой сводило губы.

Я знала: на нашей улице нельзя смотреть с такой беззащитной открытостью чувств. Над этим смеются. Взахлеб жалеть себя, плакать, хохотать мог только дурачок Коля Селибова.

Номер кончился, и я хлопала в ладоши, как могла громче, уже не видя своего странного соседа. Когда оглянулась опять, он исчез.

Снова я повстречала их, идя домой. Всех троих: балерину, скрипача и мальчика. Они пробирались по колдобинам всю зиму нечищенной дороги и не замечали меня. Я подошла к ним сзади, совсем близко. Балерина отступала чаще всех, но болтала не переставая:

— Ну что? Я же говорила! Я почти в форме. Скоро можно будет и о сцене думать. Вот выберемся из этого городишки...

— Само собой, само собой, — бормотнул скрипач. Он был занят дорогой и своими ботинками.

— Поедем хотя бы в Свердловск. Там сейчас Дуся. И еще найдутся знакомые. Мы не окажемся на мели. А там...

— Само собой. Само собой, — опять бормотнул скрипач.

— Мама, ты никогда не будешь больше танцевать. Никогда! — резко, совсем не в тон их благодушной беседе сказал мальчик. И словно оборвалось что-то. Она, как в танце, подняла руки над головой. В правой нелепо болтала сумочка.

— Стас! Как ты можешь?! Какой ты жестокий, жестокий мальчик! Тебе непременно надо расстраивать меня... — руки бессильно упали вдоль тела.

Стас молчал, опустив голову. Все трое остановились. Потом с ее лицом произошло что-то, невидимое мне, но за-

метное сыну. Странно ожила ее спина.

— Ах, ладно! — махнула она рукой. — Все это не для улицы. Рынок еще открыт, кажется?

— Мама, — тихо, но очень слышно проговорил Стас, — ты же обещала...

— Ну что, что я обещала? — она завертелась на месте быстро и нервно, как птица. — Что уж я отдохнуть не могу после работы? Можно подумать, что ты не мой сын, а турецкий паша!

— Действительно, почему бы Анютиным глазкам не отдохнуть после работы? — голос скрипача напоминал теперь мурлыканье.

— Да отдыхайте, как хотите, черт с вами! — крикнул Стас и, не оглядываясь, зашагал вперед по лужам и колдобинам. Только брызги полетели.

Я окончательно перестала что-либо понимать. В нашем дворе даже отпетый хулиган Витька Семиздут так не разговаривал с матерью. Она его ругала как угодно, а он ее словно бы и не замечал. Но иногда слушался. А тут...

Они уходили. И издали напоминали медленно растянувшийся треугольник. Вершиной в нем был мальчик, и эта вершина как бы отрывалась от основания. Потом мальчик исчез за углом, а двое взрослых все еще петляли по залитой водой тропинке. Бровень с тротуаром тащился по улице деревенский обоз. Бабы горестно лупили худых телок и бычков, запряженных в сани. Те даже и хвостами не отмахивались. Серое, насквозь промокшее небо сорок третьего года навалилось на крыши.

Я ответила Висарику: «Знаю». И сказала неправду. Ничего я не знала о тебе. Ну какое знание о человеке может дать одна-единственная встреча? Только интуитивное принятие или непринятие чужой души. В сущности, ты для меня такая же загадка, как город, в котором живешь. Ты любишь Ленинград, это я почувствовала. Стас тоже его любил. А я уви-дела Ленинград впервые совсем недавно.

Город входил в Новый год без снега и праздничных морозных узоров на окнах. Гулкая, скованная стужей, земля. Черная вода рек и каналов в кованых браслетах мостов. Фейерверк в безлунном небе: красные, голубые, желтые цветы на ломких дымных стеблях. А за неподвижной, отяжелевшей от шуги Невой рыжее пламя факелов в Петропавловской крепости. Распластанные ветром языки огня на Ростральных колоннах. Казалось, огонь говорит не о празднике, а о древ-

ней беде. Словно во двор крепости ворвалось татарское войско, а пылающие чаши Ростров торопят спешащую на выручку дружину.

В тот ветреный вечер и сам город не показался мне празддником: он только подавлял. Петербург ведь для этого и строился: человек — капля возле необозримой громады Исаакия, человек — песчинка в нескончаемых покоях Зимнего дворца. И не людям, а бесчисленным каменным идолам на фронтонах домов и храмов принадлежало великолепие дворцов и улиц города.

А утром выглянуло солнце, и я увидела совсем иной Ленинград: легкий и голубой. Теперь город целиком принадлежал людям: идолы спрятались в нишах, растаяли в тумане. Погасли тревожные огни, и старые липы в парке выглядели ухоженно и чинно. Высоко над ними во все еще облачном небе вспыхивало и гасло золото крестов и шпилей. Но для меня важнее всей этой красоты был ветер. Морской — упругий и сильный. Мгновенно соединивший в одно два далеких города: твой и тот, в котором я прожила полжизни.

В том, другом, так же хозяйничает на улицах морской ветер и морские чайки садятся на крыши домов. И такая же стылая, но не замерзшая вода плещет о его причалы. Только вместо голубого миража дворцов украшает город вольная вершина Каменного Венца, и в бесконечную даль уходят синие отроги сопок.

В ту минуту мне показалось, что ты тоже должен знать и любить Дальний Восток.

Твой родной город стар и многолик. А мой — молод, его гораздо легче полюбить. Мне же хотелось понять тебя самого через многообразие твоего города.

Кто скажет, почему из тысячи увиденных вещей запоминается одна, и, может быть, не самая главная? В музее истории Ленинграда меня поразил высокий, излишне отлакированный ящик с крошечным оконцем наверху. Первый советский телевизор, созданный в 1937 году. Он выглядел невероятно и убедительно, как гиперболоид инженера Гарина. И я сразу же подумала, что родиться он мог именно в Ленинграде. Как и многие другие вещи, стоящие на грани реальности и мечты.

А после то, к чему до сих пор страшно прикоснуться: блокада. И опять запомнились вещи странные и не главные. Огромный, грубый и неудобный ботинок немецкого вояки и рядом аккуратная плетка, сделанная с вековым запасом прочности. Овеществление фашистского режима. И еще: тоненькие брошючки на серой бумаге, в которых говорилось о

том, как надо выращивать листовую хибинскую капусту и салат. Я знаю землю. Наверное, поэтому я до конца могла понять, как это страшно, когда люди просят у земли не хлеба, не овощей хотя бы, а только самой скороспелой зелени.

Где ты жил в блокаду — не знаю. Я вообще ничего не хотела узнавать о тебе у других, хотя могла это сделать легко. Я только смотрела и все увиденное пыталась примерить к тебе. Ведь образ очень современного актера и человека, каким ты встаешь со страниц прессы, реален, но не полон. Так же, как нельзя весь Ленинград уложить в его великолепные новые заводы, стремительную, но несколько безликую современность Московского проспекта, в аллеи парка Победы. Ведь не в ином городе, а тут же рядом смотрятся в Неву фантастические сфинксы, плывет в облаках золотой кораблик и теснят друг друга страшные дома старого Петербурга. Дворы-колодцы без воздуха и света... Их мне было всего труднее принять сердцем. Люди защищали их так же беззаветно, как великолепные площади, статуи и чудеса Эрмитажа. Почему? Я знала: до тех пор, пока я этого не пойму, мне не понять и душу города. И вот однажды ко мне пришло предчувствие истины: дома эти столпились так густо на ощущимо зыбкой земле не потому, что сама эта земля стоила невероятно дорого. А потому, что все они рвались к простору набережной. Рвались из последних сил. Те немногие, что выбежали на светлое, пахнувшее морем, прибрежье расцвели дворцами. В каждом из них, как в бутоне, спал дворец, и неважно, что не всем бутонам дано расцвести.

Если бы твой город был лишен этой вечной борьбы за свет и простор, я бы могла, пожалуй, поверить, что правильные, но мертвые слова в твоих статьях — все, что способна сказать и твоя душа. Но я верю: в ней есть и свои дворы-колодцы, и великий порыв к морю и свету. Иначе никогда бы ты не занял твоего сегодняшнего места в искусстве.

Стас морем бредил.

Встретилась я со Стасом недели через две после концерта. Утром, когда я оставалась дома одна, в дверь без стука просунулось кривое лицо Селибобиной матери, Нюры, дворовой вестовицы.

— Вакуированные к вам! — сообщила она злорадно. Очень, видно, утешала ее мысль, что не к ней сунули обременительных жильцов. В нашем дворе вообще чужаков не любили. А эвакуированных особенно. Каждый из них — со своим горем, счастливых среди них не видывали. А горя и

собственного хоть лопатой греби. Смерть не переставая просеивала и без того скучных здешних мужиков сквозь свое черное сито. Одной Селибобиной матери терять было нечего: Колька и до войны числился в «крапивниках».

Нюра доложилась и исчезла, а за дверью очень знакомый голос проговорил:

— Господи, звонка нет, ничего нет...

Еще не догадываясь, кто это, я прыснула: надо же быть такой дурой — ищет звонок в нашем доме! У нас и до войны-то ни одного не водилось, а какие же звонки теперь?

— Войдите! — крикнула я. — У нас не заперто!

И они возникли на пороге. Все трое. Нет, четверо. Потому что впереди всех в комнату суетливо проскочил щенок. В жизни не видывала таких нелепых собак! Щенок был голенастый, тощий и пестрый, как кошка. Стас поймал его, взял на руки и посмотрел на меня выжидательно. А его мать — растерянно.

— Девочка, ты одна дома? А где твоя мама?

Опять глупый вопрос: конечно же, работает! Но яничего ей не сказала — сама догадается. За меня ответил Стас:

— На работе. Сейчас все работают.

При этом он покосился на скрипача, который ни на кого не смотрел и неизвестно о чем думал.

— Идемте я покажу вам комнату. Она почти отдельная!

— предложила я не без гордости. — Там раньше Вера из Смоленска жила. У нее муж вернулся, и они уехали. Его ранили, потом руку отняли. Он больше не может воевать...

Я говорила и говорила, чтобы как-то сгладить внутренний разлад между этими людьми, который я чувствовала.

Наша «почти отдельная» комната выходила в общую кухню. В кухне стояла русская печь, и круглые сутки потрескивали на шестке лучины под чым-нибудь таганком. Но не сравнить же с соседями, где через две жилые комнаты пробираться надо к выходу!

— А куда ты денешь здесь свою собаку? Тут же повернуться негде! — проговорила балерина трагическим тоном.

И я впервые увидела, что не только их светелка, но и наша с мамой комната маленькая, тесная и убогая. Чужой взгляд словно бы сдернул с нашего жилья невидимый покров, сотканный из моей привычки. И я сразу заметила плесень в углах, промерзших в январе насквозь, закопченные обои и слепые окна. Мне хотелось заплакать от смутного чувства разочарования. Но меня выручил Стас. Он осмотрелся, и на лице его отразился самый неподдельный восторг:

— Это плохая комната?! Да ты не знаешь, что говоришь, мать! Смотри: здесь же солнце! И выход отдельный. И мебель есть. Сейчас мы тут все вымоем и как еще заживем здо-

рово! Верно, Алексей?

Это он обратился ко мне. Я удивилась, но почему-то сразу признала его право называть меня именно так. Я тихонько подвинулась поближе к Стасу и погладила его щенка, который неотступно жался к ногам.

— Как его зовут?

— Матрос. Это корабельная собака, — очень серьезно ответил Стас. И я, не спрашивая больше ни о чем, сразу поверила: корабельная.

Еще я увидела, что глаза у Стаса зеленые и озорные. Весенние.

— Свистать всех наверх! Палубу драить! — протяжно скомандовал он. И сам же взялся за ведро и тряпку. Вдруг сердито округлил глаза. — Юнга! Кому была команда? Звезды считаешь?

Я не испугалась и не рассердилась. Подхватила второе ведро и со всех ног помчалась за водой. Когда вернулась, Стас уже всю мебель и в своей и в нашей комнате выгнал из обжитых углов. Век ее теперь не расставиши... «Ох, и попадет же нам от мамы», — подумала я и с наслаждением погнала по полу длинную пенную струю воды. Пропадать так с музыкой!

Мать Стаса и не думала нам помогать: мыкалась по разоренной комнате, без толку переставляя с места на место ненужные мелочи. С кошачьей брезгливостью переступала через лужи на полу. Скрипач незаметно ушел. Скоро мы забыли про них обоих — корабль принадлежал нам одним.

Под руками Стаса комната ожила. А я только воду успевала носить.

К маминому приходу сиротскую нашу квартиру точно в новое платье одели. Это удивило маму настолько, что она даже не посетовала на новых постояльцев. И ни слова не сказала о щенке. Впрочем, Матрос благоразумно отсиживался под кроватью.

Вечером на кухне со стряпней собралась половина женщин нашего дома. Я кухни избегала: там каждая тряпка кому-нибудь принадлежала, и ничего нельзя было тронуть безнаказанно. Поэтому я страшно удивилась, выглянув на кухню. Мать Стаса варила картошку на таганке тети Пани Бахаревой, а в руках у нее болталась любимая тряпка Нюры Селибобы. И ей никто слова не говорил! Наоборот: ее слушали, развесив уши. Я прокралась вдоль стены и встала за выступом печи.

— Да, его отец был героям. Настоящим героям, как в кино! — повествовала Анна Павловна. Я уже знала, как ба-

лерину зовут. — Испания, тяжелые бои... Один истребитель против десяти «мессеров». Неравный бой, вы же понимаете! Тогда немногие теряли мужей, а я...

Тряпка Нюры описала в воздухе красивую плавную дугу и опустилась почти до пола. Руки Анны Павловны тоже умели рассказывать.

В кухне стало очень тихо. Наверное, каждая из женщин примеряла к себе чужую судьбу: лучше или хуже та давняя потеря? А я позавидовала Стасу: иметь отца-героя, летчика из Испании! Пусть даже он погиб, но разве сравнишь с моим? Мой просто умер. Еще до войны. Я его почти и не помню.

И тут я увидела самого Стаса. Он стоял на пороге комнаты с Матросом на руках. Гулять, видно, с ним собрался. Конечно же, Стас все слышал! Однако на лице мальчишки отражалось все, что угодно, только не гордость за погибшего отца. На мать он даже и не взглянул, пройдя мимо. Женщины проводили Стаса жалостливыми вздохами.

— Мальчиконка-то какой баской! Чисто андел небесный, — распевно проговорила тетя Паня Бахарева.

Стас не обернулся. Но почему-то засмутилась, заторопилась Анна Павловна.

— Да... его отец был очень красив. Очень!

Сказала, точно извинялась перед кем-то. Я опять ничего не поняла. И чтобы не ломать голову понапрасну, удрали во двор.

Двор у нашего дома был просторный, рассчитанный на лабазное купеческое житье. Текли когда-то по нему подводы с рогожными кулями, полными сухого вандыша, с пахучими бочками астраханского залома, черными бревнами мороженых осетров. Все это складывалось в необъятные погреба знаменитых купцов-рыбников Скалозубовых. Деревянный терем с кружевными наличниками на окнах и веселыми балконами показывал двору неказистую конторскую спину. Окна и балконы смотрели в яблоневый сад. Сейчас на месте сада тянулись черные трещины окопов, которые зима так и не сумела приукрасить. Двор летом наполовину засаживался картошкой, а зимой угнетал зябкой пустотой. Обжитым игровым местом считался только сарай-каретник и площадка под его навесом возле солнечной стены.

У сарая собирались маленькие пацаны. Смотрели на Стаса и на Матроса. Больше именно на собаку. Ведь не только у нас в доме, во всем квартале давно уже никто не держал собак. Матрос прыгал через палку и с отвращением «умирал» на мокром грязном снегу. Он много чего умел, не меньше цирковой собаки. Но никто не смеялся. Синие лица вокруг недобро хмурились. Потом что-то произошло, и мальчишки

мигом потеряли интерес и к собаке, и к ее хозяину.

Я оглянулась и поняла. Начиналось «кино»: возвращаясь с Живопырки Родькина ватажка. А следом за нею тащилась и канючила Люська Незатак.

В давние времена стояли на площади «живейные» извозчики, и обросла эта площадь нехитрыми закусочными-живопырками. На пятак давали там ломоть «солдатского ситного», кусок вареной сомовины или печенки, да пару чая. Давно уже исчезли извозчики, а дома вокруг площади заселились разным пришлым людом, больше цыганами. Перед войной уж и звали это место чаще всего Цыганской слободой. А в войну вдруг всплыло и новым смыслом осветилось старое слово — Живопырка. Теперь оно стало жестоким и беспощадным к любым человеческим слабостям. Живопырка — рынок военных лет. Туда и водил Родька свою ватажку.

Родька — вор коренной. А остальные ребята «повылетали» из шестого-седьмого класса, и на дворе никто не заметил, как и когда все это произошло. Вчера еще вроде играли в сыщиков-разбойников, а сегодня уже «рвут когти» на Живопырке под протяжный воющий вопль деревенской бабы:

— Задержи-и-ите!

И, если повезет, возвращаются домой с полными руками хлеба и липкой картофельной сласти — «глюкозы». А не повезет — с синяками и неутолимой разрушительной злобой.

Где жил Родька, не знал никто. У нас имелся свой «король» — Витька Семиздут. Нам, мелкоте, полагалось его бояться. И мы боялись.

А Люська... Ну, Люську знала вся улица. Потому что до войны она была директорской дочкой и ее, даже в школу, отвозили на папиной машине. И девчонки, чуть постарше меня, ссорились из-за права попасть к ней на елку.

Красивая жизнь у нее кончилась перед самой войной. Когда за громкую аферу с кожами на заводе арестовали ее отца.

Сначала они с матерью уехали куда-то. Потом появились на нашей улице снова. А еще немного времени спустя улица прочно забыла Люськину фамилию. Осталась только кличка: Незатак.

...Они шли посреди улицы. Изредка сторонясь только встречных машин. Лошади и бычки сами сворачивали в сторону. Бабы в санях тихонько крешились и боязливо дергали веревочные вожжи.

Родька распахнул полушибок, и шелковая желтая рубаха светила всей улице. Сам он, худой и черный, словно бы и не шел по ухабистой улице, а плыл в танце. Один он умел так

ходить. Остальные как попало шлепали по грязи мокрыми стегаными «бурками».

А у Люськи на ногах болтались чужие ботинки, и она, как озябшая собачонка, высоко поднимала колени на каждом шагу. Маленькая, коренастая, с совершенно пустым взглядом черных глаз. Она что-то клянчила у Витьки Семиздута, но глаза в этом участии не принимали: только рот морщился жалобно, да прыгали на узком лбу крутые локончики.

Так они и вошли во двор: впереди — Родька, сзади — Люська. И тогда я увидела, что под мышкой у Витьки зажата обкусанная буханка хлеба, и он на ходу без охоты щиплет от нее крохи и кидает в рот. А Люська в тысячный раз повторяет:

— Вить, дай корочку! А Вить...

Посреди двора Витька вдруг остановился. Близко от меня. Голова закружилась от запаха растревоженного свежего хлеба. Оторвал от хлеба шматок.

— На!

Люська всем телом рванулась к его руке, но кулак с зачесанным в нем хлебом внезапно взлетел вверх.

— А не за так! Не за так! Гы-ы-ы...

Люська словно споткнулась об эти слова, а толстая рожа Витьки засияла от радости: обидел!

— Лови, шкедла!

Кусок полетел в мою сторону. Я ничего оскорбительно-го в этом не усмотрела. Мы, мелкота, за тем и толкались во дворе. Все «кино» сводилось к ловле кусков. Или подзатыльников в черные дни. Но на этот раз кусок мне не достался.

— Не смеяй братья! — крикнул Стас и перехватил мою руку.

Хлеб поймал Женя Рыжий из седьмой квартиры. Стасло обидно до слез.

— Чего ты лезешь?! Чего?! — заорала я на Стаса. Но он уже и не видел, и не слышал меня. Стас вплотную подошел к Витьке, глаза в глаза, и ударил его.

— Получи, гад, фашист!

Витька не удержался на ногах. Буханка тоже полетела в грязь. На хлеб птицей пала Люська, схватила и метнулась в ворота. Во дворе никто не шелохнулся, никто не глянул ей вслед.

Что там хлеб? Ведь сейчас убьют человека! Это понимали даже мы, мелкота. Налетчиков семеро, а Стас один. И сам Родька стоит посреди двора в своей жуткой пылающей рубахе.

Скулил Матрос, и неудержимо икал Женя Рыжий за моей спиной.

Я хотела бежать или хоть крикнуть. И не могла. Не от

страха. Я ведь не знала, что такое смерть, а по натуре была не из робких.

Только став взрослой, я поняла, что за сила сковала меня в ту минуту: страх всех. Тот самый, что позволял, может быть, в то самое мгновенье, когда мы стояли во дворе, десятку вооруженных солдат вести тысячную колонну безоружных пленных. Передающийся, давящий страх массы, который лишь очень немногие способны преодолеть...

Проползла минута длиною в час.

Родька бегуче передернул плечами, пнул сидевшего в луже Витьку.

— Вставай, падла! Чего поддувало раззявил? Играй теперь на зубариках. Ха!

Он даже не засмеялся, а только хакнул коротко, но все остальные, кроме Витьки, заржали, завыли от смеха. И я поняла: не над Витькой смеются, радуются негаданно минувшей беде.

Вдруг Родька встрепенулся, поднял руку.

— Ша! Кончай базар. Канаем, братва.

И как не бывало во дворе лихой компании. А в воротах скрип-шлеп, скрип-шлеп на протезе возник дядя Миша — участковый, по прозванию Тихоход. Пришел, как всегда, куда нужно. И, как почти всегда, с опозданием.

Осмотрел двор узковатыми татарскими глазами. Повернулся к нам.

— А где Родион, трудящие? Утек?

— Точно, утек, дядь Миша! — радостно подтвердил Женя. — Вот на чуть-чуть опоздали!

Дядя Миша кивнул и повернулся к Стасу: тоже вначале посмотрел на собаку, потом поднял взгляд на него самого.

— А это что у вас за кавалер? Не видал такого.

Тут не выдержала я:

— Никакой это не кавалер! У нас теперь живет. Из Ленинграда они...

Лицо дяди Миши не выразило к моим словам ни малейшего интереса, и потому я добавила:

— У него отец в Испании погиб! Он...

Хлоп! Рука Стаса зажала мне рот.

— Помолчи, Алексей! Не мели чего не знаешь.

Пацаны так и взвились:

— Алексей! Алексей! Ленка — Алексей!

И я сама не знаю, отчего разревелась. Оттого ли, что Стас грубо оборвал меня — ведь я хотела ему только хорошего! Оттого ли, что знала: на веки вечные прилипло теперь ко мне мальчишечье имя.

Еще вчера я бы нисколько не огорчилась: Алексей так

Алексей, встречаются прозвища и похуже. А сейчас я хотела быть девочкой. Но не той, какую видели все: в латаной козлиной кацавейке и бурках, стоптанных до того, что ступала я в них боком. А нарядной, почему-то всегда в голубом платье, что иногда под утро приходила ко мне во сне.

Стас растерялся от моего рева, но дядя Миша по-страшному свел брови к переносице и рявкнул:

— Эт-то что такое? Прекра-атить воду лить! — И так это у него смешно получилось, что слезы мигом высохли.

— Виктор тоже был? — спросил дядя Миша буднично, ни к кому не адресуясь.

И тут же, словно только и дожидалась этого вопроса, распахнулась форточка во флигеле и выставилось из нее багровое от печного жара лицо Витькиной матери. Она целыми днями пекла соевые лепешки на продажу.

— Это кому тут Виталий понадобился? Что за дело тако неотложно? — зачастила она, словно семечки щелкая. — Робенок, может, в школе, робенок, может, матери помогат? Како твое собачье дело, где ему быть?

И уже одно это взрослое имя Виталий подсказало нам, что дядя Миша пришел во двор не случайно, а по делу.

— Школу-то он, положим, с осени бросил, — так же не торопливо проговорил дядя Миша. — Ай не знала? Школу бросил и куда пошел? На Живопырку. Вот куда. Опять не в курсе?

— Ты к чему гнешь? Ты к чему поворачивашь, черт хромой? — опять было зачастила Витькина мать, но дядя Миша поднял руку.

— Погоди, не егози. Куда гну, интересуешься? А туда, что вот сегодня деньги у женщины выхвачены. Последнее. А у ей — дети. А по всему — Витьки твоего работы. Ране-то он на стреме стоял у Родьки. А теперь — сам. Потому — воровское дело скользкое: ступишь — покотисся.

— Ну, вздую я его, ну, вздую, когда придет! Ишь чего — деньги хватать! А может, и не он вовсе?

Форточка захлопнулась. Только тут я увидела, что Стаса нет. И Матроса нет. И пацанов. Опустел двор. Кому интересна брань Витькиной матери? Потому он и Семиздут: не бывает ему от ругани и побоев передыху.

Пусто во дворе. Дядя Миша заковылял к воротам: скрип-скрип, скрип-шлеп. Шаги стихли. И тогда на крышу сарая вспорхнул голубь. Потом еще два. Огляделись и заворковали, надувая радужные воротники. Почему-то я была уверена, что только мне одной известна тайна: голуби уцелели!

Третью военную зиму пережили. И я смотрела на них не отрываясь.

Мне казалось, что голуби возвращают все, отнятое войной. Стоит мне только оглянуться, и я увижу, что ворота наши не сломаны, а лишь приотворены привычно. Виден угол улицы, корявая береза и синяя тележка мороженщицы под ней. Толстая женщина не успевает раздавать сладкие колесики с именами на вафлях. Так хочется, чтобы досталось мое собственное! Нет, не попадается... А по булыжному раскату Молочной горы медленно стекает вниз пестрая праздничная толпа. Воскресенье, и люди идут на летнюю пристань кататься по Волге. Голосами Утесова и Шульженко легкомысленно перекликаются патефоны во дворах. Изредка врывается настораживающая нота: «На границе тучи ходят хмуро...» Но и она почти никого не беспокоит. Мы сильны, кто нас осмелится тронуть?

Кто-то еще появился во дворе. Голуби мигом снялись с крыши, сверкнули серебром подкрыльев на фоне черной тучи и исчезли.

Я обернулась: в наших условных воротах топтался скрипач. Никак не мог оторваться от столба, слепо тянул руку к несуществующей опоре. Меня точно обожгло: весь двор его увидит! Стасу будет стыдно!

Кое-как отцепила упрямую руку от воротины.

— Идемте, нечего тут...

Он пошел со мной охотно. Наверное, привык, чтобы его водили. Только плечо моеказалось ему все же недостаточно надежной опорой, и он свободной рукой продолжал искать какие-то невидимые перила. А то вдруг останавливался и горестно спрашивал:

— Где мы, цыбик? Это Марсово поле?

Что такое «цыбик», я не знала, и где находится Марсово поле — тоже. А вот что форточка во флигеле у Семиздотовой матери нараспашку — видела, и что за паутинным окном кухни маячат любопытные лица — тоже приметила. И мне хотелось стукнуть моего спутника чем-нибудь, чтобы не топтался зря, да ничего подходящего на нашем необъятном дворе не валялось. Я все злее дергала его за рукав.

— Идите же! Чего стали? Люди смотрят...

Мы уже карабкались по лестнице, когда наверху появился Стас. Даже не заговорил, зашипел на меня:

— Чего ты ему помогаешь?! Добренькая, да?

Но уже из-за его спины протянулись ломкие руки Анны Павловны.

— Рома! Господи, какой ужас! Какой стыд! Что подумал-

ют о нас люди? И где ты взял денег?

— У тебя. Где же еще? — буркнул Стас. — Ты ведь тоже из добреньких!

Сказал и ушел. Анна Павловна увела скрипача. А я осталась одна на сумеречной лестнице, где белела только свежая надпись на перилах: «Родька вор!» Я ничего больше не понимала. Оказывается, даже надежное, верное слово «добрый» может иметь второй, скрытый, смысл? И что вообще хорошо, а что плохо?



...Извини, что рассказывать свою историю я буду не по порядку. Если бы все, что я должна рассказать, укладывалось только в военные годы, было бы проще. Но круг времени велик, и, как я вижу теперь, почти в каждом его звене присутствует нечто, касающееся тебя. Потому повесть моя будет свободна, иначе не рассказать всего.

...Прадед Висарика плел лапти. Не для туристов: они еще не добрались до деревни Иерусалим. И не на продажу. А просто для того, чтобы пойти в них по смородину. Приютилась бурая лесная смородина среди белого каленъя осин на топких мшарах. Ягоды у нее так и не делаются черными, на вкус пряны и с горчинкой, но варенье из них получается дивное. А того лучше — медовая брага. Иходить по смородину в лаптях — милое дело. Мягко и угонисто.

От свежего лыка тянуло по избе банной сыростью, проворно сновал кочедык в сухих старческих пальцах. Мы с Висариком угнездились на сундуке и смотрели, как рождается лапоть. Висарик без интереса, а я — со странным чувством полного сдвига во времени. Какой сейчас век на дворе?

В красном углу избы немой телевизор — легкомысленный подарок городского внука. Выше — нерушимая божница с суровыми ликами угодников. Застланные овчинами полати и новехонький сепаратор на лавке под ними.

— Сколько вам лет, Иван Ферапонтович? — спросила я.

— Смотрю на вас и никак угадать не могу.

— Годов-ту? — дед пошевелил губами, словно ведя про себя неслышный счет годам. — Сам я того не знаю, желанная. Книга-то сгорела с церковью. Должно, сто десять, а может, и более. Подсказать некому, все перемерли.

Старик замолчал, и опять медленно, особым чередом, поползло в избе остановленное время.

— Дюдя, а дюдя, расскажи про разбойников, — попросил Висарик.

Мы с ним за этим и пришли.

— А чего про них рассказывать? Нету их давно. И слава тебе, господи.

— А были? — не отступалась я.

— Как не быть-то? Вона цельная деревня доси Разбойница, а каки теперь в ней разбойники — одно прозвание осталось. Вот, не соврать бы, как Мельников скиты зорил по нашим местам, тогда и лихих повывели. Сидели они тута давно, с самого Разина-батюшки. По сибирскому трахту купцов грабили. Да мало ли?

Я невольно покосилась в окно. Там, на другом берегу Скитницы, рядом с аэродромом привольно раскинулась деревенька. Это и есть Разбойница. Место высокое, лес с него свели в незапамятные времена, и люди строились, как кому вздумается. Издали кажется, что избы в Разбойнице собирались, как хмельные бабы, на деревенский пляс. Изукрасились, чем только могли, и выхваляются одна перед другой резным кружевом наличников да петухами на крышах. А посреди деревни — памятник архитектурному недомыслию — железобетонный куб колхозной конторы с модерновой синей росписью на стенах. Огромные, угловато-условные фигуры выглядят пришельцами с другой планеты. Но жители к ним привыкли и даже по-домашнему зовут Ванькой и Манькой. А вообще деревенька полна ласковой и тихой красоты бабьего лета. Не вяжутся с ней слова о набегах и разбойниках.

Дед, кажется, понял мои мысли и продолжал:

— Речка вот неподалеку тоже зовется Нея... А отчего? Бывалыча, схватит стражи лихого на переправе, он, вестимо, отпирается: «Не я да не я, и грех не мой». Так и пошло. Или озеро... Балдон зовут. И опять: золото, слышь-ка, в нем утоплено. Он самый Балдон-атаман и утопил. А взять — нет, нельзя. Потому: заклятое оно, золото разбойное. Только кто десять ден не спавши просидит на берегу, тому и дастся.

— Не просидеть столько, — со знанием дела вмешался Висарик.

— А что, ты пробовал? — поинтересовалась я.

— Не-а. Говорили. Гришка пастух. Он сидел.

— Где ему, без царя в голове, — дед серьезно покачал головой, — нет, то золото настоящего человека ждет.

На секунду прикрыв глаза, я тут же увидела и озеро Балдон. Таким, как повстречалась с ним впервые на рассвете дня три тому назад.

Озеро плотно обступили старые седые ветлы, а поверхность его затянула тонкая пелена тумана, над которой поднимались бесчисленные головки желтых кубышек. Казалось, что тонкое белое руно расшили золотыми пуговицами. Я тогда еще не слыхала о разбойничьем золоте, а сейчас подумала, что если оно и упало на дно когда-то, то обернулось, как в сказке, цветами...

С маxу отлетела, хлопнула о стенку дверь. Угодники на божнице осуждающе моргнули.

— Тута, поганец, — так и знала!

На пороге выросла грозная фигура мачехи Висарика.

— Картошка не полотая стоит, гуси ушли незнамо куда! А он где прохлаждается? Марш домой!

Бываюt непонятные люди: ни за что не уразуметь, чего им не хватает в жизни? Не понимаю я и тетку Манефу, мачеху Висарика. Целыми днями бесится, как цепная собака на жаре, а с чего? Пошла за вдовца с двумя детьми, своих двоих родила. Дети все здоровы. Муж человек непьющий, добрый и необыкновенно работающий. В семье — завидный достаток, даже ненужных вещей полным-полно. А ей все неймется.

Тетка Манефа не стала дожидаться, пока мы уйдем. Опять хлопнула дверью и исчезла. Всегда она торопится неведомо куда. Дед покивал ей вслед головой.

— Эка, ненасытная душа... Не иначе пустец в ей завелся.

И, не дожидаясь моего вопроса, пояснил:

— Это вроде червяка такого... В сердце он живет. Как заведется — не будет человеку ни утехи, ни радости. Все перевернет в пустоту. Потому и зовут — пустец. Наговорами прежде-то от него лечили, да не помогло, нет. Это уж как судьба. Поселится в сердце и догрызет человека до могилы. Да... А вы идите, голуби, идите! Съест ведь она парнишку-то. Ох, лютая баба!

Дворину перекормили навозом, и картошка поднялась на ней в пол моего роста. Ботва переплелись и свалились в борозды, пряча от глаз ершистый осот и ломкую мокрицу. Мы с Висариком с боем продирались сквозь дурманные заросли. Я сама, к великому удивлению тетки Манефы, напротискалась в помощницы Висарику. Женщина только недоуменно пожала плечами и не возразила ни слова. Мы взялись за кар-

тошку потому, что гуси и сами никуда с берегов Скитницы не уйдут.

Пахло спелой огородиной. С навозных высоких гряд тянуло прохладной сыростью молодых огурцов, щипало в носу от едкости потревоженной морковной ботвы, зацветшая петрушка обливала легким медвяным духом, а зеленые ременные листья хрена напоминали об осенних соленьях. Высоко в небо закинули головы подсолнухи, а по их мощным стеблям карабкался любопытный горох. Богатую дворину держала тетка Манефа.

По деревенской улице брела бабка с веселой нейлоновой сумочкой в руках. Раздвинула тяжкие плети хмеля, глянула на нас и зачем-то перекрестилась. Не думаю, чтобы мы выглядели такими уж мучениками, — просто у бабки сама рука сложилась щепотью.

Метнулась по крышам неуловимая тень. Прострекотал и смолк мотор самолета. Бабка насторожилась:

— Никак полдневный прилетел? Охти мне, точно он! А я-то, дура, еще в магазин не сходила.

Бабка потонула в облаке пыли, поднятой встречным трактором с прицепом. С песнями прокатили мимо доярки в лес на полдневную дойку.

Сквозь реденький плетень просочился большой черный кот и уставился на нас бесцветными на солнце глазищами.

— Почему у вас тут почти все кошки черные? — спросила я у Висарика.

— Они нужные. В них «мертвая косточка» есть, — не поднимая глаз от борозды, объяснил он небрежно.

— Что еще за «мертвая косточка»?

— Не знаю. Так говорят. Лечатся ею, что ли...

Эта тема Висарика не волновала. А я опять не могла понять, где в этом странном мире кончается день вчерашний и где начинается сегодняшний.

На чистом с утра небе появились редкие пышные облака.

— Гроза будет, — уверенно сообщил мне Висарик.

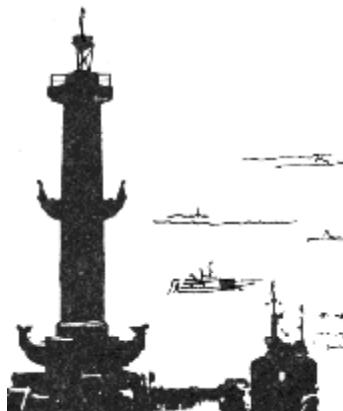
— Почему ты так думаешь?

— Дед говорит: ежели донце у облака синее, ледяное — в нем туча прячется. Вот соберутся все вместе, как войско, — неба не хватит. Эти-то у них вроде разведчиков.

— Интересно. А мы в детстве видели в облаках город.

— А на чем он там удержится, город-то? — Висарик пожал плечами. — Там ведь пусто!

Действительно: на чем он держался там, в пустоте, наш со Стасом облачный город?



Сначала весна пришла на крышу. Растиал снег, выпла-
кались сосульки. Рыжее от ржавчины железо приятно грело
спину. Мы со Стасом часами валялись на крыше, задрав ко-
лени.

Все у нас было разное: уроки, книги и мысли. А облач-
ный город — один. Придумал его Стас, и день за днем мы
путешествовали по голубым ускользающим улицам, площа-
дям и каналам. Тогда я и не подозревала, что глазами Стаса
вижу Ленинград.

С каждым разом облачный город делался красивее и по-
нятнее. В конце концов я догадалась, что Стас рассказывает
мне о виденном когда-то.

— Ты знаешь этот город на самом деле, — сказала я ему
с легким разочарованием и завистью, — потому так и рас-
сказываешь.

— Ну, знаю, а что? — спросил Стас небрежно.

— А я тоже хочу его видеть, вот что!

Стас посмотрел на меня странно, до сих пор не могу по-
нять, что за мысль прошла вдруг в его мгновенно потемнев-
ших глазах? Почему-то мне показалось, что он меня жалеет.
А может, себя? Но он тут же улыбнулся и проговорил нарас-
пев, глядя в небо:

— Грязнут семь весенних гроз, выйдут зайцы на покос... а
у Алешки выпрямится слишком любопытный курносый нос.
Вот тогда и увидишь! — щелкнул меня по носу.

Конечно же, я захотела дать сдачи, и мы чуть не скати-
лись с крыши, как подравшиеся коты, а строчка в памяти ос-
талась. Часто потом я повторяла ее, как заклинание:

— Грязнут семь весенних гроз...

Но сколько нужно прожить, чтобы дождаться такого чуда?

Налетела запоздалая метель, намела ненужного снега. Несколько дней мы не видели нашего города, я соскучилась по нему. Утром солнце согнало снег с крыши, и мы опять выбрались на припек. Крыша полого спускалась к кухонному окну. Чуть подвинься — и слышно, о чем толкуют женщины возле печного шестка.

Я лежала на крыше, смотрела в небо, но уши оставила на земле. Потому что сегодня у Стаса не было настроения путешествовать по вечно памятным улицам и площадям родного города. А в одиночку я видела и не видела то, что творилось на небе. Скорее там шло разрушение, а не созидание. Облака торопил ветер, и белоснежные башни рассыпались в прах раньше, чем глаз успевал их запомнить и сравнить с чем-то земным, знакомым.

Я невольно прислушивалась к кухонным разговорам. Стаса кухня не привлекала. Он растянулся на крыше с забытой книжкой в руке, а другой гладил Матроса. Пес так любил своего хозяина, что соглашался следом за нами выползать в слуховое окно. Он всякий раз шел на подвиг, но, конечно же, мы этого не замечали!

Стас «схватил пару» по алгебре. Не впервые. Учился он странно — без середины. Мне бывало даже завидно: то «двойка», то «пятерка», это тоже надо уметь! Теперь ему предстояло очередное, шумное и слезное, объяснение с матерью. Анна Павловна ничего не умела делать тихо.

Я услышала, как мать Стаса вышла на кухню. Поздоровалась со всеми весело. Значит, им с Ромой опять где-то подвернулась «халтурка».

— Ах, да не знаю я, где Стасик, — донеслось с кухни. — Вечно его куда-то уносит нелегкая. Стас совсем такой же, как его отец. Всю жизнь только горы. Вечная любовь к высоте. Он ведь был одним из тех, кто штурмовал пик Ленина. Всеобщее поклонение, слава. А мне... мне оставалось только одно — ждать!

Я насторожилась: сейчас на кухне вспыхнет скора. Не простят наши женщины вранья! Но кухня слушала, вздыхая и благоговея, точно и не было до этого летчика, погибшего в Испании.

Мне стало нестерпимо любопытно: как же так? Без всякой злой мысли я повернулась к Стасу.

— Слушай, а кто он был на самом деле, твой отец? Он... Я осеклась, споткнулась о взгляд Стаса. Глаза у него даже

почернели.

— Молчи! Никогда не смей об этом! Никогда!

Стас схватил под мышку Матроса и нырнул в слуховое окно. А я впервые, но слишком поздно, поняла, что говорить можно не все, что вздумается. Сколько раз потом приходило ко мне такое же позднее прозрение!

Я осталась на крыше одна. Солнце по-прежнему гладило старое железо своими лучами. Дрожали в весеннем мареве ветви старой березы. А я плакала от злости на себя и никому не нужной жалости к Стасу: «Ну зачем, зачем мне понадобилось спрашивать его о запретном?! Теперь он больше не захочет со мной дружить».

А мне без Стаса и дышать нечем.

До сих пор не знаю, нужно ли было тебе сказать что-то еще, кроме того, о чем я говорила при встрече?

Помимо сходства со Стасом, меня поразила странная несобранныйность твоего внешнего облика. В лице твоем ничто не хотело ладить друг с другом. Живой и светлый взгляд, а в глубине глаз — боль, как многолетний черный ил на дне лесного озерца. Седые волосы и длинная, совсем чужая твоему облику, стрижка. Хорошая мужская лепка скул и надбровий, легкомыслие носа и беззащитная ранимость губ.

А главное — движение.

Часто говорят про немолодых людей: «У него молодая походка». И почти всегда это бывает лишь утомительная и жалкая попытка двигаться быстро со стороны человека, которому пора ходить медленно.

В твоих движениях сохранилась не только природная быстрота и легкость, но, что поразило меня, — неуловимая мальчишеская угловатость. Так ходил Стас. Но ему было пятнадцать тогда...

Мы шли с тобой темным театральным двором по мертвый, не осенней и не зимней, земле, и мне казалось, что рядом со мной — душа мальчишки, запертая в клетку из седых волос, взрослых забот и тайной неутолимой боли. Я не почувствовала в тебе довольства преуспевающего человека. Не увидела и знаменитой улыбки. Даже не верилось, что твое грустное, неправильное и умное лицо может становиться экранно-обаятельный и красивым. Если бы я увидела его таким, оно и не заинтересовало бы меня. Поразило несход-

ство ожидаемого и увиденного. И это же поселило смутную надежду на то, что ты сам способен видеть чуть глубже и зорче, чем положено знаменитостям. На какую-то секунду, когда ты поклонился мне, прощаясь, мне показалось — ты тоже смутно ощутил предназначеннность нашей встречи.

Может быть, найдись у меня слова, все было бы иначе... Но мне не давали вздохнуть прутья моей собственной невидимой клетки. И не было времени. А тебя ждал вечерний спектакль. Странная роль, о которой до сих пор с умным видом судят вкрай и вкось все, кому не лень. По-моему, речь в ней шла о том же: о клетке. Только на этот раз клетке из страха, откуда тоже нет выхода.

Мне не верилось тогда, что встреча наша нечаянная, что мы можем и не увидеться больше. Я забыла, что в руках у меня не было волшебной травы горечавки, которая соединяет несоединимое.

За деревней Иерусалим лежал цветущий пойменный луг. Звали его, как и все здесь, неожиданно — Калипсин. Объясняли: барыня такая жила не в столь уж давние времена. Очень этот луг ей полюбился, так по странному ее имени и назвали. Не злая была и красивая, а сама не то из актерок, не то офицерская полюбовница. Откупиться, видно, понадобилось от нее, с глаз сбыть: вот и поселилась она, хоть и в собственном доме, да в глухомани. Все ждала кого-то, на дорогу смотрела. Потом умерла. А луг как при ней цвел, так и по сей день в июне цветом заливается.

Летними сумерками я пришла к дому, где когда-то жила Калипсо. Дом уцелел, потому что в нем с самой революции разместилась деревенская больница. Время приспособило дом к новым нуждам, и теперь только светлые шрамы на штукатурке напоминали о том, что когда-то у дома была веранда, а на крыше — затейливая башенка с флюгером. За садом никто не смотрел, и неохватные черные стволы лип обвили тонкие плети одичалой клубники. На месте веранды буйно раскустилась белопенная таволга, а розы стали простым шиповником. Теснитая лопухами тропинка все еще вела из сада на луг.

Летние сумерки долги. Я спустилась по тропке на луг, пытаясь представить себе, какой же она была, эта русская нимфа? Чью душу сумела похитить и, хоть ненадолго, пленить на своем острове любви?

За тихой, медно-коричневой Скитницей стоял строгий северный лес, изрезанный оврагами. Лес этот рос плотно и тянулся к небу узкими стрельчатыми вершинами пихт и се-ребряных осин. Только по оврагам свободно кудрявилась

черемуха, цвел дикий хмель и пенился папоротник.

На луговом берегу дурманно пахли созревшие травы, розовая паутина гвоздички опутывала ноги, сухо потрескивали, отзываясь на каждый шаг, желтые погремки. Дышалось легко.

Мне казалось, что на лугу я одна. Но внезапно из-за талового куста словно выплыла бесшумно легкая девичья фигурка. Даже не по себе стало: кто это, откуда? Но тут же я узнала ее: старшая сестра Висарика — Настя. В руках у Нasti пучок светлых стеблей горечавки с голубыми проблесками цветов.

— Зачем это тебе горечавка понадобилась и где ты нашла ее столько? — заинтересовалась я.

Настя молча залилась краской.

Во всем ее тихом облике было что-то невыявленное, по-таенное. Как отсвет лесного пожара, за тонким румянцем щек и у корней русых волос пряталась близкая рыжина, хотя никто бы не назвал Настю рыженькой. И на дне голубых глаз били родники веселья, хотя на людях Настя всегда вела себядержанно.

— Коли знаете цветок, так зачем спрашиваете? — тихо и чуть недоуменно проговорила Настя.

И не ушла — растаяла в сгущающихся сумеречных тенях.

...Иван Ферапонтович отнесся к моему вопросу на свой лад:

— Влюбилась, значит, Настенка-то. Ну-к что ж? Ее дело молодое. В кого бы вот только?

Подумал, беззвучно перебирая губами не высказанные слова:

— Не иначе в Гришаню Маслова. Больше не в кого. А он вроде не за ней ходит-то? История...

— А горечавка при чем? — напомнила я.

— Горечавка? Кому для чего смотря... Бабы мужикам на покосе чай из нее заваривают по тайности. Любови, говорят, укрепа. А девки на гулянье с собой берут. Трава-то не из приметных, куда хошь спрятать можно, а сила у нее особая: сердце от словесной тяготы ослобоняет. Само сердце к сердцу и потяняется. И слова придут к своему часу, а поначалу лишь бы сердце сердцу весточку подало. На то горечавка и надобна.

Я с детства знала имена трав и цветов. Но что толку в имени, если неподвластна тебе его тайная неведомая сила? Да и есть ли она, эта сила, на земле?

В конце нашей улицы, с тихим именем Мшанская, стояла искалеченная церковь. Над ее пузатыми куполами проносились немало разрушительных вихрей. Последний раз, незадолго до войны, подогнали к церкви трактор, накинули трос на главный купол, дернули. Трактор заскрежетал, из булыжной мостовой брызнули искры. Так продолжалось довольно долго. Потом тракторист заглушил мотор, отцепил трос и уехал, нехорошо поминая чьих-то родителей.

Трос остался на куполе, как веревка на шее сбежавшей из неволи собаки. Больше церковь не трогали.

Но прошло время, и другие руки заинтересовались ее оградой. Церковная ограда делалась на века: в крепостной толщины основание были впаяны литые металлические копья. Кто первый додумался выгнуть из такого копья беговые санки — неизвестно, как неведомо, ком изобретено в древности колесо. Но на исходе третьей военной зимы все панцы нашей улицы мечтали о «финках», или «гнутиках». А принадлежали они лишь немногим счастливцам: немалая сила требовалась, чтобы выломать прут из церковного неодолимого цемента и потом согнуть его петлей.

Иногда в добрые минуты мне уступал свои «гнутики» Витька Семиздут. И наверное потому, что доставались они мне изредка и ненадолго, каталась я на них отчаянно. Летала даже с раската Молочной горы, где ветер свистел в ушах тонкою злую нотой: «Убъ-ю-ю».

Дома вдоль улицы становились неразличимыми, и на секунду можно было вообразить, что вместо серых развалюх военного времени меня провожают дворцы. А голубая свободная даль заречья придвигалась и словно охватывала меня мягкими облачными крыльями, приподнимала над землей. Еще секунда — и земля отпустит меня, я полечу свободно и легко, как журавль. Никто не летает красивее журавлей... Но этой-то последней освобождающей секунды мне и не хватало. Раскат кончался, санки постепенно замедляли бег, и разъезженная сеяра кашица внизу горы тихо съедала остатки моего полета. Ноги вязли в снегу по щиколотку, а сверху уже торопили те, кто ждал санок. Полет откладывался до следующего раза.

К весне на одной только Молочной горе и осталась ледянка. Потому что смотрела она на Север. А возле церкви уже пробивались душистые лучики травы. Пырей с одинаковым усердием теребили и ребятишки, и оголодавшие за зиму козы, которых жило на нашей улице несметное число.

Стоя на верху горы, я просительно смотрела на Витьку Семизута. Он не катался — зря елозил по снегу взад-вперед. Я ждала, когда ему надоест. Но ждал и Рыжий Женька. Поэтому я все ближе и ближе подвигалась к Витьке, но он меня упорно не замечал. Ему было не до нас: на Витьку за что-то злилась воровская компания.

Вся братва вместе с Родькой дулась в «стукана» возле обтаявшей стены дома. По осколкам асфальта скакали гриневники. Расплачивались бумажками. Как всегда, перед парнями маячила Люська. Притворно ахала и то и дело раскатывалась стеклянным невсамделишным смехом. На ней лопался по швам меховой жакет, и на ногах сияли новые ботинки из настоящей кожи.

А Стас носил с колонки воду. Его мать надумала стирать. Это случалось редко, и воды нужно было много. Стас вроде бы и не смотрел в нашу сторону, но я видела, что глаза его — на горке. Знала и то, что у Витьки он санок не попросит.

Родька щелкнул «ломехой» по гриневникам, не попал и лениво, не интересуясь больше игрой, отошел к колонке. Внезапно загородил Стасу дорогу.

— Че, братан, покататься-то хоцца?

— Иди, чего пристал? — огрызнулся Стас, но не очень сердито.

— Эй, ты, шкедла! Фьють! — свистнул Родька Витьке. И тот подлетел к нему, как извозчик. — Дай-ка гнутики...

— На! Катись! — толкнул он санки к Стасу. Стас еще колебался, но ведра с водой поставил на землю.

— Что, думаешь, если Родька — вор, так он и людей не понимает? Катись, говорю, чего зыришь? А не то шкетам отдам, виши дожидаются.

— Слабо ему... — буркнул Витька.

— Боится, боится! Ведь боишься, да? Ну, признавайся! — Люська как-то странно, воровато и быстро, снизу вверх, заглядывала Стасу в лицо и тарахтела, словно тачка на булыжнике. И плечи у нее дрожали и ерзали, будто стужей на нее дунуло. Никогда еще она не казалась мне такой противной!

— Да отвяжись ты! — Стас даже толкнул ее легонько. Небрежно взял за передок «гнутики» и с места, не ища колеи, покатил с горы.

Стоял он на санках красиво, ловко, совсем не так, как Витька. И, как всегда, издали казался гораздо выше ростом.

Только управлял санками странно: незнакомыми мне, слишком мягкими движениями. А впереди, все ближе, вырастала широкая проталина.

Ее надо обехать, еще издали развернув санки рывком обеих ног. Скорее же, ну! Стоя на верху горы, я словно бы мчалась с уклона вместе со Стасом. Вот сейчас... Но что он делает?!

Стас возле самой проталины сделал вовсе непонятное движение: переступил правой ногой на левый полоз, а левой коснулся земли. Что он хотел — я не знала. И Стас, и санки еще катились кубарем, друг через друга, а я, нарушая все законы улицы, уже схватила «гнитики» чужого парня из Родькиной компании.

Было все равно, что мне потом сделают. Сейчас только одно: вниз! По самой опасной средней колее, прямо на водомойку, лишь бы поскорее. Ведь с той размолвки на крыше между нами словно черная кошка пробежала. Мы не поссорились. Стас не обижал меня. Просто ни разу с тех пор мы не путешествовали по изменчивым улицам облачного города. А облака над крышей нашего дома день ото дня наливались серебряным весенним светом.

Зло взвизгнуло лед под сжатыми до предела полозьями — водомойна мимо. Крутой разворот, серые брызги земли и снега в лицо.

— Здорово у тебя получается! — Стас подошел ко мне, хромая на правую ногу. Голос спокойный, а в глазах — неловкость. — Черт их знает, эти санки, они совсем на финки не похожи.

— Ты... ты ничего?

Все слова куда-то попрятались от меня, ни одного не найти.

— Ногу подвернул. Чепуха. Но ты-то как слетела с горы! Вот не думал...

Мы замолчали и так, без слов, стояли друг против друга. И в тот миг, впервые в жизни, я вдруг увидела не только себя, но и Стаса словно бы чужими глазами, со стороны. Уличная девчонка с красными, обмороженными руками и почти совсем взрослый парень, которого красили даже старые, латающие вещи.

Над нами синело одно весеннее небо, кричала одна и та же грачина рать, но стояли мы на двух, лишь случайно сблизившихся льдинах. Пройдет мгновение, и бурное половодье навсегда разнесет их в разные стороны...

— Посмотри, что наверху-то делается! — Стас схватил меня за руку. — Ведь там милиция явилась!

Да, мне не грозила расправа за взятые без спроса санки: Родькину компанию заталкивали в «воронок». Последней посадили туда же Люську.

Когда мы со Стасом поднялись наверх, там сиротливо дожидались хозяина ведра с водой, а Рыжий Женяка бочком подбирался к брошенным санкам. Но на полдороге остановился.

Возле стены, где только что играли в «стукача», стоял дядя Миша и легонько подбрасывал в руке «ломеху». Он в упор смотрел на Женяку. В нашу сторону дядя Миша даже и не покосился.

Через много лет угрюмый, насморочный мужчина встретил меня возле платформы электрички в Комарово.

— Вам куда? Может, подвезти чемодан?

Мужчине очень хотелось опохмелиться, но его средство транспорта вызывало недоумение: невесомые полозья и сиденье из реечек, вроде садовой скамейки. Что ж, дело его...

Хлипкое сооружение двинулось с места легко и угонисто. Мужчина встал одной ногой на полоз сзади. И тогда я догадалась: это же финские санки. Настоящие, те самые.

О красоте этих мест писали много, а меня сразу же поразила непроглядная чернота здешних лесов. Изредка лишь вспышкой белого света мелькнет среди черных елей тонкая береза или пучок молодых осин, похожий на стрелы в колчане. В еловой глуши стволы берез и осин так тонки и беспомощны, что снег пригнул их к земле. Словно леший расставил по полянам белые кольца для игры в крокет. В низинах торопится подбел и гнутся вербы. И отовсюду лезут валуны. Никаким снегом их не укроешь.

Скупая северная земля, как тень, похожая на далекую Колыму. Но там действительно все иное и уж вовсе ничто не напоминает Европу.

Можно любить или ненавидеть Колыму, но спутать ее нельзя ни с чем. Здесь же черты Севера странно сплетались с чертами средней России. Не получалось целого.

Но я хотела понять эту землю, почувствовать ее отравную силу. Вспоминала рассказы Стаса, но это не помогло. Может быть, те же сосны на берегу залива, которые видела я, любил и он. Но его память хранила иной, недоступный мне, облик деревьев, скал, валунов. Он видел их дикими, а я — домашними.

Прибрежный лес перекрестили прямые линии проспектов. В нескольких местах они услужливо сбегали к мелкому заливу с игривым названием Маркизова лужа. Над самой водой шумели сосны, которым грозили зимние штормы, и только прянный настой водорослей и свежий огуречный за-

пах корюшки внезапно напоминали о дикой красоте Охотского моря. Но Маркизовой луже и во сне не снился бешеный прибой, черная глубь возле берега и синий свет незабудок на угрюмых серых скалах.

Берег заполнили птицы и белки. Не те, сторожкие и быстрые, как взгляд, что населяли колымскую тайгу, а игрушечное, полуурочное племя. Забава вельможных старух из писательского Дома творчества.

Меня их тихая жизнь не касалась.

Почему я была так уверена, что тело само вспомнит давний, детский опыт — не знаю. Но в первый же день я взяла финские санки, чуть пробежалась по прямой, знакомясь с их нравом, и совершенно спокойно ринулась вниз с самой высокой горы. И не упала. Только ветер обжег лицо.

Уже в конце раската я вдруг вспомнила... Оглянулась на чуть присыпанные первыми барашками вербы, кивнула мрачной вороне на ветке и потом переступила на полозья так, как это сделал однажды Стас. Санки мягко развернулись и встали. Только и всего. Спустя годы, я поняла, чего хотел добиться Стас. Он привык к послушной легкости финских санок. А я знала лишь грубую стихию самоделок.

Финские санки принесли мне радость. Они укрощали расстояние, но не мешали смотреть и слушать. Именно они и открыли мне потаенную красоту новой земли.

День за днем, блуждая по лесным просекам, я видела, как робко, с северной застенчивостью проглядывают повсюду приметы весны.

На вершине берегового кряжа раскрыли заспанные детские глаза подснежники. Ожил вереск и даже тихо пах в солнечные дни словно бы отзвуком прошлого своего летнего благоухания.

Обтаяли корни сосен, и зашевелилась на коре и на земле всякая живая мелюзга: пробовали крылья бабочки, гудели жуки. Низины стали неоглядным водяным зеркалом, и день за днем смотрелись в него и хорошили цветущие ивы.

Но дороги держались еще крепко.

Утро казалось пепельным. Солнце без лучей светило сквозь туман, а на горизонте залегла черная туча, грозившая летним градом. Было тепло, тихо и странно. Словно вдруг волшебно смешались времена года.

Я бежала по лесной просеке, покрытой ледяным настом. Санки скользили легко. Просека вела неведомо куда, и все выше, чернее вырастала вокруг стена елей. Я подумала, что деревья скоро совсем стиснут узкую тропу и не пустят меня дальше. Но тут ели расступились, и я увидела дворец.

В первую секунду мне показалось, что здание не касается земли, а чудом повисло в сумеречном воздухе над кромкой берегового обрыва. Черным бархатным пологом вставала за шпилями дворца туча, и весь он лежал на ней, словно огромная перламутровая раковина. Он светился, хотя я не могу объяснить — почему? В окнах не горели огни. Светились сами стены здания.

Я не знала, что это за дворец, кому он принадлежал в прошлом. Сейчас он принадлежал мне... и тебе. Потому что в эту минуту ты незримо стоял за моей спиной. Так уже и прежде случалось на лесных тропах или в бездонные минуты полета с горы. Когда это пришло впервые — я не помню. Сначала я видела эту землю глазами Стаса. Теперь — твоими.

Глазами Стаса я увидела морской берег, сосны, валуны и гибкие веточки подбела между ними. Помню, он все пытался рассказать мне про кустарник, который цветет так, словно на ветках повисли капли молока. Говорил, что он да еще желтые цветы-баранчики только под Ленинградом растут.

Твой мир оказался шире. Я, словно бы впервые, увидела дачи. Они прятались среди деревьев, и их внезапное появление напоминало елочный сюрприз. У каждой было свое лицо, и я подумала: это потому, что принадлежат они очень заметным, непохожим людям. Забытые до лета, они все равно комуто приносили радость. В болотистых садиках кормились пестрые сороки и вездесущие синички. На завалинках и крылечках грелись на солнце бездомные кошки. О людях же напоминали только забытые вещи: дорогая кукла без головы, скомканная нотная тетрадь, разбитый аквариум. Можно было часами размышлять над тем, кому принадлежал этот странный набор вещей, как и чем жили здесь люди. Закутанные в солому черные деревца туи почти у каждого крыльца придавали домам отрешенно-строгий, нерусский вид.

Но дачи интересовали меня не сами по себе. Я мысленно населяла их людьми с раскованным умом и большим талантом, которых ты мог знать близко, пытаясь представить тебя среди них.

Я много ездила по глухим углам, видела подчас такое, что не каждому дано, но общения с тонкими, самобытно умымыми людьми мне всегда не хватало.

Не могу поверить, что тебе не интересно все это. Не из желания приукрасить тебя в своем воображении, а исходя из созданного тобой же самим. Послушный режиссерской воле, но неумный актер никогда не осилит Достоевского. В том же фильме, где блестяще играл одну из самых сложных ролей ты, я видела и такое кукольное послушание. Без него почти

никогда не обходится искусство кино. Но ты — иной. Это я поняла задолго до нашей встречи. Людям, наверное, интересно с тобой и в жизни. И как мне хотелось оказаться вон на той, затененной елями, веранде с тобою рядом!

Не более... Может быть, я не имею права говорить об этом? Все равно... Ты значишь для меня много. Так много, что случайная игра настроения между нами невозможна.

Слово «любовь» сегодня употреблять опасно — для многих оно звучит банально. Для меня — никогда. Безотносительно к тебе, я могу сказать одно: любовь — всегда открытие мира. Пусть даже мир этот всего лишь две звонкие, освещенные восходящим солнцем, сосны и кустик полевой ромашки между ними, внезапно заслонивший тонкими лепестками само солнце. Или тугая капля росы на листе сирени, протянутая тебе любимым, как самый божественный напиток на земле. Или никем до тебя не виданные синие скалы, слоистый седой туман меж ними, зеленые острые глаза неведомого зверя в расселине и спокойное, уверенное прикосновение руки друга: «Не бойся, я всегда рядом...»

Не важно, что именно и как приходило в твою жизнь. У каждого это свое. Главное: лишь бы никогда большое слово «Любовь» не подменялось мушиной толкотней мгновенных и ненужных отношений.

Не знаю, как сложилась твоя жизнь. До тех пор, пока я не увидела тебя в театре, мне думалось, что чувство любви вообще обошло тебя стороной. Почти в каждой твоей экранной роли удавалось все, кроме любовных сцен. Но вот я, уже после нашей первой встречи, попала на спектакль, который до сих пор живет во мне, как будто это кусок моей собственной жизни. Может быть, потому, что действие там происходило в знакомом мне до дна мирке сибирского поселка. Признаюсь: я боялась за тебя. По возрасту, по силам ли роль, требующая внезапного прозрения, взрыва всех чувств?

Давно, еще в детстве, я слышала, что от истинного таланта остается в памяти не зрительный образ, но голос и слова, которые он произнес однажды. Там, где впереди зрения, нет подлинной глубины. И вот я именно так, со всеми интонациями, запомнила твой голос, произносящий простые слова: «А бог все-таки существует... Слышишь, Валентина? Когда я сюда подходил, я подумал: если бог есть, то сейчас тебя встречу... Кто докажет мне теперь, что бога нет?»

Это не было прямым признанием в любви, но звучало удивительно! И тогда за всем этим, за рамками роли, я почувствовала твою собственную душу, твой поиск счастья.

Что-то было, конечно, у тебя есть семья, но встретилось ли единственное, главное? На сцене театра можно сказать о по-таенном, на съемочной площадке это доступно лишь тем, кому не для кого себя беречь, кому ничего не стоит выплеснуть в пустоту самое заветное, что стоило бы отдать лишь одной или одному.

Я думаю, ты не очень обидишься, если я пожелаю, чтобы тебе и дальше так же «не везло в любви» на экране?

...Туча поднялась еще выше, и мир погас. Хлестнули по лицу тугие струи крупной, как град, крупы. Я повернулась, чтобы уйти. И тут в конце просеки увидела странную фигуру.

Подросток (или очень маленький мужчина) стоял, не двигаясь, под секущими струями града. И смотрел на меня. Настораживала именно неподвижность. Нельзя спокойно смотреть на то, чего не понимаешь.

Собственно, он был мне не страшен — на санках я могла бы вмиг исчезнуть. Но что-то и влекло и отталкивало в нем. Медленно, шаг за шагом, я приближалась к нему, тоже забыв про непогоду. И когда оказалась совсем близко, замерла от страха.

Он не крикнул, не двинулся с места, но лицо его вдруг стало зыбким, как вода. Все черты в нем двигались, смеялись, кричали — без единого звука. А потом он прыгнул в сторону и словно утонул в густом черном ельнике.

Только тогда я опомнилась. И тут же сообразила, что это — не леший, а несчастный идиот, сын одного из здешних жителей. Я и до этого видела его мельком, но никогда не решалась всмотреться в его лицо. Может быть, оттого, что слишком хорошо помнила другое...

Никто в нашем дворе не знал, почему Колю Сурина зовут Селибоба? А звали так его все, даже взрослые. У Коли Селибобы с годами росли только глаза — темные, круглые и словно бы незрячие. Сам он оставался хилым, как росток за-битой в подполье картофелины.

До войны Селибоба ходил в знаменитостях. Его даже возили в Москву и лечили в институте. На память о тех днях досталось Коле обременительное умение плести половички из пестрых лоскутов.

Тонкие пальцы вязали узелки с недостижимой быстрой. Но что нужно делать дальше, Коля забыл. И за ним вечно змеился по полу или по земле пестрый хвост из связанных тряпочек. Потом хвост попадал кому-нибудь под ноги и укорачивался наполовину. Тогда Селибоба начинал отчаянные

поиски новых лоскутов. Подобрать и распутать узлы на прежних он не догадывался. Связанные, они переставали быть самими собой, теряли привлекательность.

Война сделала лоскутки роскошью. Колины пальцы теперь вязали пустоту. Меня угнетало это непривычное, напрасное движение. Я решила приучить Колю к делу.

С ранней весны весь наш двор жил крапивой. За домом среди старых лиг и возле церковной ограды поднимались к лету крапивные заросли. Крапива не переводилась. Словно только больше свирепела оттого, что ее так безжалостно драли.

Весной крапива бессильна. Еще не накопили злости ее мягкие лопушистые листья не длиннее пальца. Такую крапиву брали на вес столовые города. Платили натурой — обедом из той же крапивы, чуть сдобренной синей картошкой и черным конопляным маслом.

В сорок третьем двор наш сильно обезлюдел. Многих свалила новая болезнь — «трахмальная ангин». В чуть оттаявшей земле люди искали клубни забытой осенью картошки. Из вонючей черной жижи выпаривали «трахмал» и пекли из него блины. Плакаты на заборах никого не останавливали. Двор мелел на глазах.

Да еще забрали мальчишк. Неуловимый Родька и тут сумел уйти. А мать Витьки Семиздуга ходила теперь не на Живопырку, а «кланяться». Кому уж где она кланялась, мы не знали, но жаркое ее лицо бледнело на глазах, а Витька все не появлялся...

Изредка наведывалась во двор притихшая, пришибленная Люська. Уже без новой жакетки и ботинок. Зайдет, посмотрит по сторонам пустыми глазами и уйдет, ни о чем не спросив. Я думала: ищет Стаса. И радовалась, что не видать Люське его как своих ушей! Стас перешел в вечернюю школу и работал в пригородном совхозе. Теперь и я-то видела его редко, как радугу.

А мы собирали крапиву. Я каждый день вела за руку Колю Селибобу и изо всех сил пыталась объяснить ему, что нужно делать. Но что может сказать человек птице? Коля весело щебетал, руки его бесцельно сновали по сторонам, и он только мешал нам всем. Ребята на меня злились.

Но однажды я показала Коле узкий синий лоскуток, потом его руками сорвала несколько кустиков крапивы. А после отдала ему тряпочку... И словно в темную комнату ворвался сноп света: Коля понял! Он собирал крапиву вдвое, втрое быстрее любого из нас. Иногда он зарабатывал даже на две порции супа. Но хотел одного — лоскутов. А где их

было набраться? Я хитрила, как могла, распутывая старые, но Колины руки всегда меня опережали.

Крапива пошла в дудку, огрубела. Весенний промысел наш кончился. И тут произошло чудо: вместо обеда нам выдали однажды по несколько слипшихся розовых конфеток. Даже и мысли о том, что их можно просто съесть, ни у кого из нас не возникло. Конечно же, конфеты надо продать и купить гораздо более нужные вещи: стакан овсянки, жаренную сою, а может быть, даже крошечный кусочек масла.

Воскресным днем мы нырнули в мутные воды Живопырки.

Пыльное рыжее солнце висело над площадью, где переливалась и скандально бурлила людская толпа. Оглушали голоса и запахи. Мы решили, что всю нашу добычу отдадим Женьке Рыжему, он хоть и не старше, да ростом повыше. Пусть продаёт.

Селибобу я сначала тащила за собой за руку — хорошо это помню. А вот как и где он от меня отстал — не знаю. Сама я, как завороженная, уставилась на безрукую гадалку. Сидя в коляске, она шелково тасовала карты босыми клешнястыми ногами, а гаданье растолковывала желающим черная постная старуха. Бабы успокоенно кивали и отдавали черной старухе рубли: все-таки хоть поманило счастьем... И тут совсем близко за моей спиной возник тянувший жилы вопль:

— Задеки-и-ите!

Я обернулась. Пастистая и костлявая, как старая щука, старуха обеими руками вцепилась в плечи Коли Селибобы. А он и не думал бежать, да и не боялся никакого. В руках его пенились мотки оглушительно ярких ниток, целое богатство. Разве сравнишь их с линялыми погасшими лоскутками? На «развале» у ног старухи ниток этих лежала груда — знаменитый на весь рынок товар.

Если бы Коля рвался из рук, старуха давно бы уже принялась его бить. Но он стоял неподвижно, молча, и она только теребила его, воплями сзыва подмогу. И уже заклубилась вокруг них шалая базарная метелица. А издали, как колун в осиновое полено, войдя в толпу, надвигался огромный чугуннолицый мужик. Я сразу поняла: он и ударит первым. А тогда...

Саму меня оттирали все дальше, безнадежнее. И вдруг я почувствовала: у меня за спиной появился Стас.

Он тронул меня за плечо, и только тогда я обернулась, на полсекунды продлив для себя радость узнавания без взгляда. И даже вздрогнула: лицо его показалось мне чужим. Но

на то, чтобы разобраться, откуда идет это ощущение, уже не осталось времени.

Стас входил в толпу неощутимо, как тонкое лезвие, и меня тащил за собой. Оказавшись за спиной старухи, шепнул мне:

— Как только они кинутся ко мне, тащи прочь Селибобу! Да нитки не забудь бросить. Поняла?

Я ничего не поняла, кроме одного: мне надо будет увести Колю. А Стас сделал шаг вперед, обеими ногами ступил на старухины линючие богатства и вдруг рухнул, расталкивая людей плечами и коленями в жутких корчах. Что с ним творилось!

Закликали бабы, обалдело остановился страшный мужик. Старуха, забыв о Селибобе, шарила на земле, выуживая из-под чужих сапог, из пыли мотки ниток.

Сначала ноги у меня примерзли к земле. Еще через секунду я бы кинулась к Стасу. Но именно в этот миг я поймала его мгновенный, приказывающий взгляд из-под руки.

Тогда я схватила Колю, вытрясла нитки из его кулаков и бросилась прочь. Дальше, дальше от этого проклятого, отправленного злобой места!

Стас догнал нас на полдороге к дому. Он устало потирал ушибленный локоть, но лицо его выглядело прежним, знакомым.

— Удрали? — спросил небрежно. — Ну, и лады. Ты этого дурачка больше на Живопырку не води, ясно? Не всякий же раз я рядом буду.

Селибоба уставился на Стаса большими, как у ночного зверька, глазами. Ничего не понимал.

Я всматривалась в лицо Стаса, искала то, прежнее, и не находила.

— Слушай... Но как же ты так? Как это можно?

Он улыбнулся не без самодовольства:

— Хо! Я в школе и не такое устраивал! Если уроков не знал. Но это до войны. Теперь нельзя, — поправился он.

— Ты настоящий артист! Самый настоящий.

Он отрицательно качнул головой.

— Нет. Я — моряк. Буду моряком, вернее. А артисты ведь и не люди, они — артисты. Впрочем, ты этого не поймешь, не надо и говорить. Сам я на сцену не пойду никогда, вот и все. Запомни!

Стас шел, откинув голову. Так, чтобы солнце падало на лицо. И грыз травинку. Солнечные лучи до дна просвечивали глаза. Даже крошечной тени не оставалось в глубине. И лицо смеялось, хотя Стас даже не улыбался. Невозможно было

понять, как удалось ему только что втиснуть юную красоту и радость в искаженную маску болезни и боли?

На дворе нас встретил зареванный Рыжий Женька. Конфеты он продал хорошо, но деньги походя отобрал у него Родька. Вор снова хозяйничал на Живопырке.

Для меня покрыта тайной способность одного человека на время исчезнуть и возникнуть в ином, непохожем образе. Остается ли в эти минуты собственная личность артиста или полностью растворяется в чужом облике? Но если остается, то как должна страдать добрая душа, пустив в свои владения злую... И где предел перевоплощения? Все непонятно и страшно, как вторжение необъяснимого, что хоть раз, да случается в жизни каждого из нас.

Всплыло из глубин памяти одно из самых ранних воспоминаний детства. Было мне тогда года три, и мы гуляли с дедом по нашей тихой булыжной и травяной улице. Дед читал мне стихи. Самые разные, не выбирая, не думая о сложности. Знал он их множество и читал прекрасно — мать его была актрисой Александринского театра. Непонятные, но певучие строки завораживали.

Я слушала деда, но во все глаза смотрела по сторонам. Потому что вдоль ветхих заборов и среди булыжников ютились травы и мелкие полевые цветы, неодолимо для меня привлекательные.

Это мгновение я и сейчас помню ярко, как сегодняшнее впечатление. Нагретая солнцем белая стена дома, узловатые корни тополя, раскрошившие старый асфальт. И в земляной узкой щели возле стены незнакомые мне кустики с красными ягодами. Разные, чуть мохнатые и белесые листья, трехгранный стебель и ягоды, похожие на мелкую подсохшую малину.

Не то чтобы растение так уж мне понравилось, просто я захотела узнать, как его зовут? Сорвала несколько ягод и протянула деду.

— Что это?

Он спокойно посмотрел на мою ладошку.

— Паслен. Ты же его прекрасно знаешь.

Я хотела возразить... и не смогла. Кажется, впервые в жизни я испугалась, хотя внешне чувство мое и не было похоже на страх.

На ладони у меня действительно лежали круглые зеленые шарики паслена. Знакомые и совсем не интересные. Растение возле стены исчезло. В скучной щели теснились только пыльный колючий пустырник и ядовитый паслен.

Объяснения всему этому я не нашла и взрослой. Но теперь мне кажется, что в актерском перевоплощении спрятана эта же тайна. Тебе в минуты наибольшего вдохновения так же, как мне когда-то, удается сорвать красные ягоды с куста зеленого паслена. А уж сколько времени удержат их наши руки, зависит от нас самих.

К середине апреля весна в Комарово утвердилась прочно. Исчезла угнетающая зимняя чернота леса. Теперь он стал золотисто-бронзовым от вынырнувших на свет из чернолесья сосен и задумчиво-голубоватым и сквозным в низинах, где росли березы и тополя. Над заливом громоздились настоящие морские облака, берег дрожал и менялся в весеннем мареве, словно бы на месте Маркизовой лужи рождалось море. В обманчивом тумане ничто уже не казалось реальным, прочным и ничто не удивляло.

Утром в окно я увидела двух белок, занятых очень странным делом. Сидя друг против друга на снегу, они пихались передними лапками, точно в «ладушки» играли. Неподалеку валялся кусок булки с маслом, и я было решила, что белки просто очумели от жадности. Но вот по темному стволу сосны, словно дымная струйка, скользнуло еще одно легкое беличье тельце. Скользнуло и замерло на нижней ветке. Хвост — вопросительным знаком. И сразу же те двое внизу затолклись, запихались короткими ручонками отчаянно, словно в немом фильме. Тогда я догадалась: ни при чем тут вкусная булка. К белкам пришла весна.

Весну принесли не солнечные лучи, а птицы и звери. Повисли на темных ветках нарядные зяблики. Расстроенным оркестром грянули скворцы. Медленно, как спросонья, лопались барабашки и на тех вербах, что спрятались в тени.

Впервые я поняла, почему скворцов зовут скворцами. На рассвете, когда остальные птицы еще молчали и подражать было некому, скворцы рассаживались по вершинам деревьев и почти гармонично шипели и пощелкивали, как сало на сковородке. Словно лесная нежить жарила огромную яичницу.

Скворцы с боем выкидывали из скворечников зимнее воробышко. Дятлы ссорились с белками из-за дуплянок. Синицы совались всюду, где не просят, и боевым стрекотом подзадоривали больших драчунов. Пересорят всех — и улетят, весело тряся хвостами. Кутерьма на каждом дереве.

Труднее всего приходилось дятлам. Весной всем петь полагается, и хорошо тем, у кого горло звонкое. А если голоса вовсе нет? По всему лесу искали дятлы расщеп на стволе и зудели на нем с утра до вечера.

Быстро-быстро бьет дятел клювом по щепке, и щепка дребежит: «Дз-з-з...» А в дупла тем временем лезут все, кому не лень, и отогнать некогда. Да еще и дятлих недобор: музыкантов полон лес, а слушать почти что и некому.

И вот однажды я услышала дятлинного гения. Изобретение его было просто и потому потрясло. Маленький красноголовый музыкант уселся на вершине телеграфного столба, и вместе гнусавой деревянной трели окрест зазвучал сильный металлический перезвон. Дятел и стучал-то по крышке на столбе не сильно — был мал и слаб, но песня его заглушила всех остальных певцов. Одна за другой слетались на его зов дятлихи и покорно низались, как бусы, на провода. А он исступленно звенел и звенел — маленький, совсем некрасивый победитель сердец. И, наверное, даже немножко презирал глупых дятлих.

Он звенел и на другой, и на третий день, так и не выбрав себе пары...

Стас уходил из моей жизни. Его уводила разница в возрасте. Теперь он совсем редко бывал дома. Даже Матроса забросил. Пес перешел в мое владение, хотя по-прежнему любил и ждал только своего хозяина. Собачьим умом он, наверное, понимал, однако, что в доме Стаса неладно и там не до него.

Скрипач Рома тайком ушел к продавщице из нашего магазина. Выждал время, когда Анны Павловны не было дома, и торопливо перенес свое имущество под новый кров.

Тетя Паня Бахарева высказалась по этому поводу на кухне:

— Не иначе распродалась вконец Анна-то Павловна. Съел бы еще роток, да не видит глазок.

Сама Анна Павловна, против обыкновения, молчала. Только писала письма в Ленинград и ждала ответа. Но похоже было, что письма ее уходят в небытие: наверное, никто из ее друзей не пережил блокады.

А Стаса материны заботы почти не волновали. Он приходил из совхоза дочерна загорелый, усталый и словно бы хмельной от загородного вольного ветра и солнца. Морщился, если мать заговоривала о планах возвращения в Ленинград. Кормил и ласкал Матроса. А меня просто не замечал.

Но мне-то он стал еще необходимее, чем прежде! Потому что случай на базаре открыл мне в Стасе талант. Конечно, я

не понимала тогда, что нечаянно натолкнулась на самую привлекательную силу, какая только есть на земле.

За красоту любят отчаянно, но недолго. За талант — всю жизнь. Я не знала этого, я просто все время хотела видеть Стаса, думала лишь об одном: любым путем мне надо привлечь к себе его внимание!

Когда мне становилось вовсе невмоготу, я забиралась в чулан — сумеречное помещение под крышей, где тихо доживали век обломки былого благополучия нашей семьи. Все, что имело хоть какую-то ценность, давно проглотила Живопырка. То, что осталось, могло бы пригодиться только сказочнику. Обрывок воскового венчального венка — восковые капли цветов флердоранжа, пыльный букетик фиалок из синевы, французские романы со слипшимися от сырости страницами. Все это освещал рассеянный свет единственного слухового окна да зеленые вспышки кошачьих глаз по углам. Кошки охотились за летучими мышами, издавна ютившимися среди высоких перекрытий. Этот мир принадлежал только мне одной.

Как-то еще зимой я привела в чулан Стаса. Но он только чихнул:

— Ну и пылища, дышать нечем! — и больше ни на что смотреть в чулане не захотел.

Я проводила в чулане целые часы, исследуя самые дальние, забытые его углы. И вот однажды обнаружила под слоем потерявшего название хлама почти целую картонку. Сердце замерло от предчувствия: там сокровище! В картонке оказалась спорок шерстяного красного платья, погасшие кружева с серебряными нитями и тонкие телесно-розовые чулки.

Чулки пришли мне по ноге — бабушка была очень маленькой женщиной. Кружева, почистив, мама отнесла на базар. А из остатков красной шерсти решила сшить мне платье к дню рождения.

Дело это требовало, наверное, не маминого доморошенного умения, но я об этом не задумывалась. У меня будет новое платье! Шерстяное! Что может сравниться с подобным великолепием? Да еще и настоящие тонкие чулки...

День рождения пришелся как раз на одно из воскресений в середине мая. Судьба опять благоволила мне: ведь это значило, что и Стас увидит меня в новом платье, а тогда... В общем-то, я не знала, что «тогда». Просто будет хорошо. Как бывало когда-то на теплой старой крыше под облаками.

Оставалась еще забота — волосы. Густые, но очень тонкие, они вечно выбивались из кос и неряшливо висели по

щекам. Мне пришло в голову, что волосы надо завить. Уж и не помню, сколько времени ушло у меня на каторжную работу? Я поделила всю свою гриву на тонкие пряди и каждую такую прядь, намочив водой, заплела в тугую косичку. Мама только вздыхала, глядя на мое усердие.

А утром голова моя напоминала только что сметанную копну сена: ни одна волосинка не хотела спокойно лечь рядом с другой! Еле-еле маме удалось собрать всю эту взбесившуюся рать в одну, толстую и короткую, как самоварная труба, косу. Ничего красивого не получилось: коса выглядела чужой, невсамделишной, как в кино. Но там такие косы свисали чуть не до пола, и носили их взрослые высокие женщины.

А платье... Даже наш, дымный от старости, осколок зеркала не хотел с ним мириться. Его почти огненный цвет убил меня. Обветренное лицо, обмороженные в зимнюю стужу руки смотрелись на его фоне, как свекла на красном блюде. Бальные фильтекосовые чулки возмущенно покраснели от соседства серых тапок из «ровницы», похожих на пыльные лапти.

Я стояла перед зеркалом, опустив руки, и почти безучастно смотрела на чужое лицо. Оно не принадлежало мне, я же это чувствовала. Под слоем чужих тряпок, под обветренной кожей щек жило совсем другое существо — прекрасное и светлое, как солнечный луч, что сейчас несмело гладил встрепанные космы.

— Ой, какая смешная! Стасик, ты глянь только на нее!

Голос, сказавший это, не говорил, а звенел. Я обернулась. В дверях нашей комнаты столпились незнакомые мне большие ребята. Но девушка среди них была только одна. Она осталась бы в одиночестве и среди девичьей толпы. Почему-то, глядя на нее, я сразу вспомнила, как переливаются камешки на дне просвещенного солнцем ручья. И только потом я поняла, что она смеется надо мной.

А Стас стоял с ней рядом и смотрел только на нее. Наверное, он даже не понял ее слов, потому что не обернулся, не глянул в мою сторону. И хорошо...

В следующую секунду, растолкав их, я уже вылетела на лестницу, потом на двор, а оттуда ноги сами понесли меня под гору к Волге. Ни о чем я не думала, ничего не чувствовала — мне просто хотелось бежать...

Пустынный берег встретил меня ровным гулом весеннего половодья. Свободная от плотов Волга небрежно дробила на сверкающие осколки отражения золотых куполов монастыря, самоходом гнала по течению баржи. И только узкая дуга запани напоминала о ее будущем летнем плене.

Запань — связки из двух-трех бревен, скрепленных кантом — огораживала место, где летом встанут плоты. Коричневая сорная вода на середине реки свободно перехлестывала через бревна, но они не тонули, а лишь кла-нялись набегавшей волне.

Почему я это сделала — не знаю. Мне требовалось невозможное — вот и все. Я скинула тапки и, забыв про чулки, ступила на шаткие бревна запани.

Ветхая ткань чулок быстро порвалась, пальцы обрели привычную цепкость и гибкость. Никто на нашем дворе не умел лучше меня бегать по «живулькам»... Но с «живулек» — несвязанных бревен — всегда можно вовремя соскочить на твердый плот. Здесь выбора не было, да я и не нуждалась в нем.

Раскинув руки, я летела вперед, все ближе к середине реки. Ноги сами знали: здесь возможен шаг, здесь — только полшага. Ветер трепал платье, хлестал косой по плечам, швырял в лицо пригоршни брызг. А я бежала! Ныряли и снова всплывали бревна под ногами, шипела вода. На затопленном луговом берегу плакал чибис. И, как зимой на ледянке, мне показалось, что за спиной у меня — крылья. Пройдет еще секунда — и я взлечу. Во-он туда, высоко, где изломанным треугольником повис ястреб.

Потом до меня дошел еще какой-то новый звук — слитный гул, как один огромный вздох: «А-ах!» Как раз в эту секунду очередная связка бревен у меня под ногами нырнула в воду. Я успела перескочить на следующую. С нее запань снова заворачивала к берегу, и тут я увидела: вдоль только что безлюдной косы стояла черная толпа.

Люди не кричали, не махали руками. Наверное, они боялись спугнуть меня, как не будят лунатиков на карнизе... Я поняла их, но не испугалась. Просто мне вдруг стало скучно. Я увидела, что возле бревен запани скопилось радужное озерцо мазута и в нем бултыхается яркая банка из-под американских консервов. Сами бревна бескорые, скользкие и, как плешь, обросли по краям космами тины. Вольный шум воды на стрежени и голоса птиц на том берегу утонули в крепчайшей ругани плотовщиков. Люди отводили душу, кто как умел: ведь случись со мною беда, отвечать пришлось бы им.

Чувство полета, брезошибочно несшее меня на опасной середине реки, исчезло. Уже возле самого берега я позорно сорвалась в воду. Глубины хватило мне по пояс. Я брела по мелководью, и на новое платье садились несмываемые пятна мазута. Что со мной будет теперь, что скажет мама —

было решительно все равно. И Стас словно бы перестал существовать в реальной жизни. О красивой злой девушке с глазами, как камешки в ручье, я даже и не вспомнила в эту минуту.

Странен мир наших воспоминаний. Вот сейчас мне захотелось рассказать о том, как ты вошел в мою жизнь впервые. Это случилось задолго до нашей встречи.

Конечно, я знала о твоем существовании: ты был уже достаточно знаменит. Но меня никогда не привлекал мир кино. Даже в юности я не увлекалась артистами, и имя твое значило для меня не больше, чем десятки других. Точнее: оно существовало лишь как титр на экране и никогда не отождествлялось с живым человеком.

Я жила на Колыме, работала в газете. Мир детских воспоминаний скрылся под новыми впечатлениями, как весенняя трава под листопадом.

Мне приходилось много ездить по области. Любой разговор о Колыме начинается с хвастливого перечисления, сколько и каких европейских государств может вместить ее территория. Много... Потому и не перевелись на Колыме до сих пор медвежьи углы.

В один такой угол — дальний оленеводческий совхоз на границе с Якутией — я и забралась однажды.

Ехали мы на «газике».

К вечеру дорога совсем обезлюдела, а речушки вокруг стали казаться колдовскими родниками, и смотрелись в них разные лесные дива. Это ощетинилась корягами и нерублеными пнями дикая тайга. Все больше делалось звериных следов на первом нечаянном снегу, и стало казаться, что и дороги-то вовсе нет, а движемся мы по обманной ледяной тропе, неведомо кем проложенной и никуда не ведущей.

Шофер нервничал:

— Хоть бы машина какая встретилась, спросить бы, туда ли едем...

Но в огромной, открывшейся с перевала долине только деревянный мост через реку напомнил, что дорогу эту все же торили люди, а не лесная нежить. Встречных машин не было, и воздух был прозрачен и по-вечернему тих. Наверное, поэтому все мы и приметили издалека тонкие дымы, столбом поднявшиеся в небо.

В совхоз приехали уже поздним вечером, но осенью в этих местах очень долго не тают последние отблески заката. Это не тьма и не свет, и не летняя белая ночь — нечто, чему люди

еще не придумали название. В мерцающем странном полу-свете мы увидели село, поначалу ничем не примечательное. Сразу было видно, что совхоз растет: стояли среди низеньких, как и везде на Колыме, беленых хат двухэтажные новые дома. Такой же новый магазин с кокетливой верандой и столовая ему под стать. Только короба отопления, перекрестившие весь поселок вдоль и поперек, напоминали о Дальнем Севере. Такие же я видела в старом Якутске. И точно так же, как там, жители использовали их вместо панелей, а в нужных местах соорудили из досок лесенки-перелазы.

Без провожатого не сразу поймешь, как пройти к дому, который вроде бы весь на виду, рядом. Показалось, что ближе идти через едва намеченный рейками палисадник возле одного из домов. Но навстречу бесшумно и грозно поднялись белесые от инея тени — огромные и невероятно мохнатые ездовые псы. Возле домика стояла нарта, и они были привязаны к ней. А в другом месте вдруг печально и тонко зазвенел стылый воздух и ожила реденький кустарник под окнами. Там стояли олени с колокольцами на шее, и никакой это был не кустарник, а олени тонкие рога.

Ни в одном другом месте я не встречала подобного содружества: обычно там, где ездят на оленях, нет собак. Здесь и те, и другие мирно служили человеку.

Последней в тот колдовской вечер возникла перед нами на довольно высокой мусорной куче странная компания: три лошади-якутки и, чуть поодаль, несколько собак. Но уже некогда было разбираться, что все это означает, хотелось спать.

Утром в окно заглянуло солнце и позвало на улицу. Было уже довольно поздно, и я с досадой подумала, что все давно проснулись и занимаются разными интересными делами, а я вот не увижу ничего этого. Но поселок, залитый солнцем, мирно спал. На обрыве за ближайшим к речке домиком чинно паслись наполовину вылинявшие белые куропатки — целая стая во главе с солидным мохнолапым петушком. Издали они очень напоминали знаменитого «Голубя мира» на рисунке Пикассо, даже ссорились по-голубиному шумно и из-за явных пустяков.

Возле самых наших окон откуда-то взялась оленяя упряжка, и я поняла, что это так странно скрипело и шуршало ночью за окном: олени скусывали с форточки ледок, они и сейчас занимались тем же самым делом. А больше их ничто человеческое не интересовало: хлеб, соль, сахар, предложенные им, не вызывали восторга. Олени вежливо тыкались в

руку теплыми черными губами, хрюкали вопросительно... и отворачивались.

Гладить разрешали себя сколько угодно, но тоже явно не понимали, зачем это нужно людям?

А вскоре я увидела и вчерашнюю тройку лошадей. Они деловито «копытили» ближайшую помойку и с хрустом грызли кости и еще какую-то дрянь. И вчерашие псы жались поодаль, норовя ухватить отлетевший в сторону мосол. Однако, когда один из псов подсунулся слишком близко, молодая серая кобылка молча выпустила кость и так клацнула большими желтыми зубами, что стало страшно. Хотя, в общем-то, ей куда проще было ударить собаку копытом, но это уж по поговорке: «С кем поведешься...»

Лошади были явными и наглыми тунеядцами, собаки — тоже. А вот что делали люди, понять я не могла. Казалось, поселок полностью принадлежит животным — настолько уверенно и небоязливо они вели себя.

Однако чего не увидит глаз, то иной раз учитывает нос. Меня настиг и прямо-таки повел за собой давно забытый запах свежего деревенского хлеба. Он совсем не напоминал привычный хлебозаводской, он был живой и сильный. Запах привел меня к неказистому домику возле закрытой еще кантонки со вхоза. Привел не одну меня, лошади-тунеядцы прибыли раньше, какими-то ближними путями. Теперь они столпились у низкой, обитой войлоком, двери.

Дверь отворилась, и из нее выкатилась женщина, под стать своему хозяйству. Маленькая, как девочка, и круглая, как свежий колобок.

— Кыш, дармоеды! — замахнулась она на лошадей мечткой. — Обнаглели совсем!

Но лошади только постригли ушами, прислушиваясь, а с места не тронулись. Тогда она обернулась к двери.

— Уля! Где ты там? Уведи этих одров, глаза бы на них не глядели!

В темном проеме двери что-то мелькнуло, и на улицу вышла девочка. Или девушка?.. Сказать трудно... Взрослый, испытующий взгляд темных глаз на узком, словно бы треугольном лице. И кособокая, исковерканная болезнью, ребячья фигурка. В руке костыль.

Она не замахнулась, не закричала на лошадей. Молча протянула руку и потрепала по шее предводителя тройки — седого лохматого коня. И вся компания покорно последовала за нею. Я — тоже. Уж очень стало интересно.

— Вы вчера приехали? Здравствуйте, — кивнула мне Уля. Но я сразу поняла: слова ее просто таежная вежливость, а не

желание начать знакомство. Лицо Ули оставалось замкнутым.

Между тем солнце вошло в силу, разогнало туман, и из зимы мы сразу вернулись в осень. Село ожило, и животные незаметно уступили место людям.

Возле гаража двое водителей колдовали над рычащим вездеходом, по коробам отопления, самыми причудливыми путями, катились в школу ребятишки. Над конторой с полусловами, словно проснувшись, вдруг загремело радио. А возле закрытого магазина мало-помалу начала скапливаться куча очень по-разному одетых людей. Ни один из них не поднимался на крыльцо, а все делали вид, что оказались тут случайно, как бы между прочим.

В общем-то было ясно, чего ждет эта публика, но я не сразу поняла смысл разыгравшейся тут же немой сцены. Из-за угла дома к магазину подошел быстрым, не прячущимся шагом рослый и, наверное, очень сильный мужчина. Дальнейшее напоминало фокус: люди исчезли! Растаяли на глазах! Подошедший человек никому из них и слова не сказал, только показал увесистый кулак последней, мелькнувшей за углом, тени. Тень растворилась в воздухе ускоренным порядком, оставив на память о себе ядреный дух вчерашнего перегара и свежего лаврового листа.

— Видели? — очень просто, по-домашнему, спросил мужчина. — И такие еще у нас «кардры» имеются, ничего не поделаешь. Ох, черт! Извините, это же он куда наладился?

И сам тоже исчез. Впрочем, ненадолго. Вернулся скоро, бережно ведя под руку старика со сморщенным бесполым лицом.

— В стадо надо, слышишь? — втолковывал он старику.
— Дорога растает, как добираться будешь?

— Магазин нада... — просительно пробормотал стариик, косясь на запертые двери.

— Ничего тебе там не надо. Все продукты в стадо привезем, не беспокойся.

Существо смирилось удивительно легко. В покорности старого эвенка было что-то и трогательное и невыразимо печальное, даже пугающее.

На нас с Улей и на лошадей мужчина не обратил внимания. Видимо, лошадиное тунеядство здесь никак не преследовалось.

— Почему лошади ничем не заняты? — спросила я Улю.
— Что, в совхозе работы для них не найдется?

Уля пожала остренькими плечами.
— Это не наши — геологов. Еще не все партии из тайги вернулись. Вот соберутся, тогда и лошадей на конебазу от-

гонят. А пока так... Сами кормятся. Они меня знают.

— Ты в пекарне работаешь?

— Да... И в клубе тоже. Я уборщица. Больше ничего не могу.

Она не жаловалась и не напрашивалась на сочувствие. Говорила очень просто и, что меня удивило, почти совсем без акцента.

— Учишься в школе?

— Нет. У нас в селе только начальная. Здесь библиотека хорошая, я там много книг перечитала. Хотите, покажу наш клуб?

— Покажи. А лошадей-то куда денешь?

Уля вдруг улыбнулась и дивно похорошела. Кажется, во всю свою жизнь я не встречала человека, чье лицо так бы меняла улыбка.

— Лошади знают, зачем идут, — сказала она мне. — Подождите!

Уля очень быстро поднялась на высокое крыльце некакистого домика с выцветшей надписью «Клуб». Она вообще двигалась легко и почти грациозно, несмотря на свой костыль. Вернулась скоро с полотняной торбочкой, полной хлебных корок. Разделила угощение между всеми якутками по справедливости, и лошади действительно ушли.

Потом мы вошли в клуб. На стене была аккуратно приклеена обложка от старого журнала «Советский экран». Знакомые черты. Кажется, именно тогда впервые, но еще неосознанно, я почувствовала сходство с лицом Стаса. Те же краски юности, тот же открытый, но совсем не простой взгляд. Даже и пепельные выющиеся волосы похожи. Но Стас оставался в моей памяти мальчиком, а со стены смотрело хоть и молодое, но все же лицо взрослого человека. Мысль о сходстве мелькнула и ушла.

А чуть дальше на старом оленем коврике красовались самодеятельные открытки из фильмов с твоим участием. Я из них помнила только два, особенно нашумевших.

— Это твой любимый артист? — спросила я Улю.

— Артист — нет. Человек добрый, — уклончиво ответила она.

— Ты что же, видела его в жизни?

— Зачем видеть? Так знаю... Очень, очень добрый человек! Здесь тоже добрые люди есть, вот как директор наш, Иван Иваныч. Вы его видели у магазина. Он и на работу меня устроил. Зачем я в стаде такая? А есть люди... всякие. — Она промолкла на секунду, словно отмахиваясь мысленно от неприятного воспоминания. — Этот человек добрый всегда. Случится что-нибудь, я ему рассказываю, и он мне помогает.

Косой луч солнца падал на Улино лицо, подчеркивая его угловатость. Но он же до дна высветил и глаза, я видела каждое движение мысли в них. И одно мне было совершенно ясно: девочка эта не бредит, просто, бог весть почему, она уверилась в фантастической помощи незнакомого ей человека.

— А тебе никогда не приходило в голову, что ему можно написать?

Уля покачала головой.

— Нет. Мне это не нужно. Он и так здесь. Зачем письмо? Пойдемте, я лучше библиотеку нашу покажу...

Книг в библиотеке оказалось немного, и сразу чувствовалось, что занесла их сюда случайная и нелегкая судьба. Разрозненные тома русских классиков и рядом — новехонький, никому здесь не приглянувшийся томик стихов Аполлинера. Улю он тоже не интересовал. Она читала Тургенева, медленно, словно одолевая ступеньки бесконечной лестницы...

— Тебе кто-то подсказал название этих книг? — спросила я все-таки.

— Нет... Я сама. У нас сейчас нет библиотекаря. Приходит учительница из школы, но ей некогда, у нее ребенок маленький и болеет часто. А я каждый день тут убираюсь и книжки смотрю. Все знаю, только еще не все прочла.

— А открытки тоже ты на стенку повесила?

— Да... Наш Иван Иваныч, директор, сначала бранился, зачем, говорит? Ну, а потом привык, и все привыкли тоже. Красиво, правда?

Я вдруг вспомнила, как в давние времена, работая в техникуме, напрасно боролась с таким же увлечением своих учеников. Со всем пылом молодости я доказывала им, что собирать карточки кинозвезд — пошлость, то же самое, что щелкать семечки. Что живые, окружающие нас люди в тысячу раз интереснее сделанных рекламой кумиров... Уж и не помню, что я тогда говорила еще?

А теперь я стояла перед странной выставкой открыток и думала, что это похоже на иконостас, хотя внешнего сходства — ни малейшего. И расхожее словцо «пошлость» даже на секунду не мелькнуло у меня в голове. Только стало тоскливо и неловко за себя прежнюю. Разве я знала, чем были такие же открытки для некоторых из давних моих учениц.

— Конечно, красиво, — согласилась я с Улей.

Ничего больше я сейчас сказать ей не могла. На прощанье добавила, что непременно приду вечером в клуб кино смотреть.

— Так я вам место займу, — предложила Уля, — а то на этот фильм знаете сколько народа придет?

Привезли старый фильм с твоим участием, и я знала по опыту: любимый на Колыме неизменно. Поэтому я охотно согласилась на предложение Ули. Больше до вечера я Улю не видела. И не вспоминала о выставке в клубе.

Девушку звали Иола... Иоланта. Редкий случай, когда обзывающее имя пришлось человеку впору, как перчатка. Отец Иолы стал директором, не знаю уж каким по счету, того невезучего завода, которым когда-то руководил Люсекин отец. Мать Иолы до войны преподавала музыку, а теперь не работала. Сама Иола собиралась стать знаменитой пианисткой.

Иола родилась по-настоящему красивой. Природа с самого рождения поставила ее так высоко над людьми, что ей трудно было рассмотреть со своего пьедестала чужую боль. Только очень дальновидные люди видят с высоты лучше; для большинства внизу мелькают лишь смутные тени.

Вероятно, Стас нравился Иоле. Во-первых, он тоже был красив, хотя и не так, как она, во-вторых, мать его в прошлом танцевала на сцене Кировского театра.

Иола скучала в нашем городе. Но вела она себя непонятно. Если Стас ей нравился, зачем было его мучить? Ей ничего не стоило не прийти в кино — пропало настроение. Она, не стесняясь, громко говорила во дворе, что и на секунду больше не заглянет в наш дом: вид нищеты ее угнетает, мешает заниматься музыкой. Матроса сразу же окрестила «шелудивой дворняжкой» и не разрешала ему подходить к ней. Впрочем, он и сам не шел... Никогда и никому не говорила добрых слов. А Стас прощал ей все. И люди прощали. Почему? Только потому, что она позволяла всем любоваться собой?

Если бы Стас дружил со мной, главным делом моей жизни стала бы его радость. От большой — на всю жизнь, до самой маленькой — на минуту. Годы прошли с тех пор, а я вот так и не знаю, почему зло любят сильнее добра?

Стас день ото дня мрачнел и совсем перестал интересоваться гречной жизнью нашего двора. А жизнь не стояла на месте.

Анна Павловна все-таки дождалась волшебного письма из Ленинграда. Кроме того, у нее появился новый друг. Все у этого человека было необычным: имя, внешность и повадка. Звали его Аверьяном Михайловичем, лицом он напоминал сильно побитую градом картофелину — так глубоко в смуглую неподвижную кожу врезались следы оспы. Но на темной

маске его лица переливались удивительно красивые синие глаза в длинных, совершенно прямых черных ресницах. Но сил он форму военного моряка, но я не знала, какой у него чин, а выглядела эта форма на его сухом поджаром теле временно и странно, словно чужое платье, одетое на минутку. Если Аверьяна Михайловича просили о чем-то, все равно — маленьком или большом одолжении, он на секунду опускал ресницы так, что глаза исчезали, а потом тихо отвечал:

— Можно...

Всегда только одно слово. И точно так же всегда исполнял обещанное.

Тете Пане Бахаревой он очень пришелся по душе:

— Самостоятельный человек, с характером!

Вся кухня считала, что теперь наши постояльцы долго здесь не заживутся.

Лето набирало силу, а сорняки — рост. Я пристроила вместо себя Колю Селибобу полоть картошку, а сама, как умела, оберегала от коз крошечный цветничок у нас под окном. Росли там маки, ноготки, ромашки и пахучий греческий левкой.

Все во мне странно замерло. Я видела и не видела то, что происходит со Стасом. Делала, что приходилось, по дому, но словно бы в этом доме и не жила. И не я пролетала когда-то по предательски узкой запани, не я донашивала непоправимо испачканное платье...

Вывел меня из состояния нереальности Стас. Душным летним вечером подошел и оперся о жидкий штакетник цветника. Стас улыбался. Я так давно не видела его близко, да еще и веселым, что от растерянности пролила воду из лейки.

— Сорви мне этих душистых цветов, — Стас показал на греческий левкой. Он умел требовать не оскорбляя. Не то что наши мальчишки.

Я сорвала несколько гибких веточек с бледными сиреневыми крестиками цветов. Стас взял их, понюхал.

— Хорошо пахнут! Спасибо, Алексей!

Протянул свободную руку и согнутыми пальцами прошел по моей щеке. Небрежно и ласково. До сих пор помню шершавое и теплое прикосновение его кожи...

Стас ушел, я отнесла лейку домой и тайком помчалась на «сковородку». Потому что больше у нас с цветами никуда не ходят. Только на танцульку.

Издали «сковородка» напоминала недостроенное здание цирка — так высоко поднимался могучий забор вокруг совершенно круглого сквера. Около единственных ворот топтались ожидающие.

Я искала глазами Стаса, а увидела Люську. Она, как членок, сновала из темноты на свет и снова в темноту. Оглядалась боязливо, но не уходила. Вдруг замерла, вытянув шею, и на лице ее появилось неописуемое выражение подавленности и восхищения.

Я оглянулась: очень близко от меня сквозь толпу похожих друг на друга людей шли два непохожих человека — Иола и Стас. Все девушки вокруг них так или иначе напоминали Дину Дурбин, все мальчишки рядились под бывалых фронтовиков.

А они оставались самими собой. Цветы греческого левкоя серебрились в темных волосах Иолы не по моде: букетик полагалось прикладывать на грудь. У ее платья не торопились высокие ватные «плечики», оно свободно открывало загорелую шею. А Стас и не пытался выглядеть грубым, видавшим виды бродягой. Его спортивная голубая безрукавка издали светилась среди перешитых гимнастерок.

Я повернулась и пошла прочь. Возле угла улицы оглянулась на шум: какой-то парень бил Люську, она вопила и цеплялась за его плечи. Двое милиционеров, дребезжа свистками на ходу, пробивались сквозь густеющую, как каша на огне, толпу.

...Холодное пламя зарниц то и дело прорезало тревожную темноту «воробышкой ночи». Шальной ветер встряхивал деревья. Над спящим или притаившимся двором скрипели от старости и тоски древние липы — боялись, что свалит их ночная буря. За темными кронами деревьев смутно проступало еще более черное пятно — церковь.

Я притаилась на лавочке возле крыльца и ждала Стаса. Не знаю зачем. Ждала долго.

Начал накрапывать дождь. Перестук капель на крыше постепенно набирал силу, как шум приближающегося поезда. И только когда голоса всех капель слились в один голос ливня, на улице мелькнула светлая рубашка.

Хорошо, что никто, кроме меня, не видел Стаса. Люди решили бы, что он сошел с ума: парень скакал на одной ножке по лужам посреди улицы, нелепо махал руками и пел. Уж не знаю что — слов было не разобрать. Но все равно на пустой улице под пенные разговоры водосточных труб звучала песня.

Я успела уйти домой раньше, чем Стас заметил меня. И, странное дело, я вовсе не чувствовала себя обойденной судьбой, Золушкой. Стас вернулся счастливым — и я успокоилась. Словно бы согрелась возле него. Я думала: теперь он опять станет добрым и, может быть, однажды, хоть раз, мы

снова отправимся в путешествие по улицам облачного города. Пойти со Стасом на танцульку я все равно бы не могла.

Любопытная судьба у этого фильма, что мы собрались смотреть вместе с Улей. Снимали его когда-то с самыми добрыми намерениями. Образ благородного вора, ищущего правду жизни.

В совхозе жили и работали люди разные, но сумеречная публика, до отказа заполнившая совхозный клуб, годами ходила именно на эту картину. Все знали фильм наизусть, но это никому не мешало. Каждый видел на экране себя. И только одного они не могли рассмотреть: глазастый молодой человек там, на экране, мог очень точно передавать их жесты, манеру вести себя, но внутренне все равно оставался самим собой — ладным спортивным парнем с живой улыбкой.

Смотрели с наслаждением, с комментариями.

Герой схватил нож точным жестом, но при этом крупным планом мелькнула рука: тонкие пальцы с чистыми ногтями.

— Эх, мать, клипа-то бабья! — презрительно заявил знакомый возле самой сцены.

В углу зала взвился высокий сломанный тенор:

— Сявка! Ложкомойник! Ты не видел, с какими руками ходили на дело «короли»!

Мы с Улей примостились возле дверей на одном стуле. Сначала я смотрела на экран, пытаясь найти знакомые черты в лице героя. Быстро убедилась, что бесполезно: лицо это все равно не принадлежало реальному человеку. А фильм я знала давно.

Тогда я стала наблюдать за людьми в зале и за своей соседкой. Всякое можно подметить в полуутемном зале кинотеатра: скуку, мгновенную симпатию, иногда — тайное безутешное горе...

Здесь впечатление зала ломалось надвое. Сначала исступленный восторг, потом — такое же исступленное отрицание.

А Уля, по-моему, никого и ничего не слыхала. Да и содержание фильма затрагивало ее мало. Она смотрела только на героя и, наверное, видела его в эту же минуту в каких-то совсем иных обстоятельствах, потому что улыбалась в самых неподходящих местах. И совсем не огорчалась, если герой попадал в беду.

Фильм шел к концу, и тут наружная дверь сначала выгнулась, словно под внезапным ударом шторма, а потом распахнулась с треском. Что-то очень большое и темное целиком

заполнило собой дверной проем.

— Опоздал... Смотри ты какая оказия! Наплевать бы на чертов вездеход, да пешом — успел бы, поди.

Мужчина в дверях чувствовал себя совершенно непринужденно.

— Заткнись ты, рыкало! — прикрикнули на него из рядов. — Вечно опаздываешь!

— Ах, чертова лошадь, и что было пешом не двинуть? — сокрушился тот, как бы и не слыша окрика. — Теперь когда вот кино это еще раз привезут?

— Дядя Яша приехал, — шепнула мне Уля.

— Кто это такой?

— Сестры моей муж. Пастухом в стаде работает. Один он такой на весь совхоз.

В зале зажгли свет, и Уля уже в полный голос объяснила мне:

— У нас в совхозе якуты и эвенки живут, а он — русский. Оленей знает. Только вот шумный очень и еще... — она споткнулась на слове, — в общем, он всегда только сам за себя.

Еще подумала и добавила:

— Дусю, сестру, все счастливой называют. А я бы вот с ним жить не могла. Если бы здоровая была, — поправилась она поспешно.

— Что же с тобой такое? — спросила я неуверенно, не зная, как отнесется к этому Уля.

Она ответила совершенно спокойно:

— Я в детстве с оленя-учика упала, с тех пор у меня бок болит.

— Надо лечиться...

— Зачем? Я же все равно не смогу жить в стаде, и замуж меня никто не возьмет.

Я промолчала, сразу не найдя слов для возражений. А Уля уже и забыла, о чем мы только что говорили — пошла к дяде Яше. Наверное, захотела расспросить его о сестре.

Когда я проходила мимо них, они быстро говорили о чем-то по-эвенски. Странно было слышать, как легко слушаются этого русского, белесого и краснорожего мужика чужие щелкающие слова. Еще я подумала, что, должно быть, он очень хитер — в грубых чертах лица притаилась лисья острота.

На улице гулял сырой осенний ветер. Он был переполнен запахами оттаявшей земли, палой хвои, горечью таловых листьев и арбузной свежестью снега. На вершинах сопок снег держался прочно.

Что-то белесое маячило возле стены клуба. Я подошла поближе: давешний лохматый конь с наслаждением слизы-

вал со стены остатки афиши. Предложенный кусок сахара взял с руки охотно, но тут же вернулся к прежнему занятию: вероятно, афишу намазали мучным клейстером.

Уля не появлялась. Мимо меня безмолвными тенями прокальзывают люди.

За моей спиной снова раскрылась дверь, и голос Ули произнес:

— Вы не ушли? Темно-то как... Идемте, я провожу вас в гостиницу.

Дядя Яши рядом с нею не было, и я понять не могла, куда и как он успел уйти? Испарился, как злой дух.

Дядя Миша пришел во двор с первыми козами. Очень рано. Двор спал непробудным сном военных лет. Еще не шла смена с лесопилки, и посреди улицы, спотыкаясь от усталости, брела только сумасшедшая татарка Сания. Она каждую ночь через весь город ходила на вокзал встречать своего давно погибшего сына. Ей казалось, что сын — маленький и ему одному не найти дороги домой.

Следом за Санией тащились козы. Сначала в несуществующие ворота заглянули две унылые белые морды. У одной козы свисали изо рта кудреватые листья украденной где-то моркови, другая алчно уставилась желтыми глазами на заборчик нашего цветника. Но вдруг воровки шарахнулись прочь — дядя Миша мимоходом огrel коз хворостиной. Молча кивнул мне и прошел во флигель.

Не хлопнула и не взорвала руганью форточка: Витькина мать сама встретила его на пороге и увела в дом.

Пока я размышляла над ее непривычным поведением, во дворе появился Женяка Рыжий. Он лениво волочил за собой по земле потес — отправили беднягу картошку очищивать!

В воротах показалась Люська. Ненакрашенная и незавитая, в тесном линялом платьишке.

Женяка вдруг загородил ей дорогу потесом.

— А ну, катись отсюда!

Я разинула рот от удивления: чтобы Женяка так командовал!.. Люська же старше и сильнее, даст ему разок его же потесом — будет знать!

— Женяка, ты чего, белены объелся? — спросила я, не выходя из садика.

— Ничего я не объелся! Родька всем сказал: пусть эта, — он небрежно кивнул в сторону Люськи, — ни на «сковородке», ни на улице не показывается. Она Витьку «заложила».

Люська молча отвернулась. Я все еще не могла поверить,

что она послушается Женьки, но, кажется, к этому шло.

— Постой-ка, Людмила! И ты, герой, обожди, — к воротам от дверей флигеля ковылял дядя Миша.

Он подошел к Люське и неожиданно для меня погладил ее по плечу:

— Что дураки тебе говорят, ты не слушай. На работу шла? Ну и иди, давно бы так... А с Евгением мы по душам поговорим, я ему все-е-е разобъясню!

— Спасибо, дядя Миша, — глухо проговорила Люська. Помялась еще в воротах и ушла.

Женька стоял насупившись и чертил по песку босой ногой.

— Родион, значит, велел? Приказ по своей армии отдал, так? — повернулся к нему дядя Миша. Хмурое его лицо не сулило Женьке ничего хорошего.

— На фронт его, сукина сына, не взяли, так он здесь командует! Хотя, положим, что на фронте его нет, так это не нам, это немцу потеряя: недосчитываются одного полицая, гады!

Женька сердито поднял голову.

— Что бородой-то, как козел, дергаешь? Обидели твоего атамана? А я правду говорю: он — полицай! Потому — душа у него поганая. Виктор вот в колонию из-за него пошел, а он — гуляет. Тебя в колонию спроводит — тоже гулять будет. За кого держишься, дурья твоя голова?

— Он... он не полицай, он смелый, — упрямо насупился Женька.

— Смелые сегодня воюют, а не справками от фронта спасаются, — гораздотише проговорил дядя Миша. И ничего больше не добавил. Но почему-то и я, и Женька — мы оба не сковариваясь посмотрели на его протез. Мы знали, что дядя Миша воевал и ногу потерял еще в сорок первом под Москвой.

А заодно мы увидели и в нашем дворе следы войны. Каждый день смотрели на то же самое и не замечали... Валится в пыльной гусиной траве разбитая сапожная колодка. Дяди Федины сироты играли да и бросили. А до войны он сам, ржавый сапожник дядя Федя, сапоги на ней тачал.

На веревке возле флигеля тетя Паня развешивает бельишко — детское и женское. А до войны ее-то юбок и не видать было за мужскими рубахами: мужа да троих сыновей проводила тетя Паня. И никого уже не придется ей встречать. Остались с нею трое малышей — болеют с голодухи.

Худая и высокая Лиза прошла мимо нас на работу в мужской одежде. Донашивает робу своего мужика и работает там же, где он работал — на лесопилке. Но пока муж ей пишет...

Женька поерзal плечами — я по спине видела, как ему вдруг стало стыдно.

— Я... я пойду, дядя Миша?

— Что ж, иди... трудящий. Да поразмысли головой-то, что я тебе сказал.

Взвалив, словно тяжкую ношу, легонький потес на плечо, Женька поплелся за сарай. Там до самой церкви тянулись огороды. Я могла бы идти домой — двор ожил, и козы теперь не придут до вечера. Но медлила. На сердце у меня было тревожно, и не от разговора Женьки с дядей Мишой.

Сегодня на рассвете, выскользнув тихонько на лестницу, я так и обмерла: в углу лестничной площадки спал Стас! Где-то раздобыл пару картофельных мешков, голову положил на теплый собачий бок и, наверное уже во сне, обнял Матроса рукой за шею. Пес не смел шевельнуться, только чуть приподнял мне навстречу голову и насторожил уши.

В первую минуту я с ужасом подумала, что Стас напился, как многие мальчишки в нашем доме. Но нет, водкой от него не пахло. Он спал просто как смертельно уставший человек. И, странное дело, вдруг показался мне таким маленьким и беззащитным! Гораздо слабее меня самой... Густые пепельные волосы закрывали глаза, но на худой, темной от совхозной пыли щеке я совершенно ясно увидела две светлые дорожки. Стас плакал во сне? Невероятно! Но и губы были стиснуты так, словно он боялся закричать... Я долго сидела возле него на ступеньке, и мне казалось, что это не я, а вместо меня сразу десять человек, и каждому хочется чего-то другого, чем всем остальным! Я не знала, что делать...

Стас проснулся сам. Мгновенно, словно и не спал, а только притворялся спящим, как тогда на Живопырке — больным. Стряхнул со лба волосы, глянул на меня все-таки чуть смущенно.

— Ты, Алексей? Сторожишь меня, что ли? Спасибо!

Небрежно скатал и пнул в угол мешки. Потянулся.

— Не в курсе, Окай-то Нахалыч у нас? — спросил словно бы мимоходом.

— У вас, — ответила я коротко.

— Ну и лады, — кивнул он удовлетворенно, как будто и сам не знал того, что я сказала. — Ты иди, козы-то уже пришли, наверное, — добавил он. И я пошла во двор. Что мне еще оставалось?

А теперь вот не знала, стоит ли возвращаться домой, что меня там ждет? Ясно же: на лестнице Стас спал неспроста...

На кухне никого не оказалось. Словно дом наш вымер внезапно.

Дверь Анны Павловны — нараспашку, и я сразу поняла: объяснение в полном разгаре! Мать и сын стояли друг против друга посреди комнаты. В руках у Анны Павловны мотался белый лоскут письма. Стас спрятал руки в карманы. Аверьяна Михайловича не было — он умел уходить и приходить совершенно незаметно.

— Я тебя не понимаю, — после долгой паузы проговорила Анна Павловна. — Как это ты не можешь ехать?

— Я хочу жить самостоятельно, — чужими, наверное заранее придуманными, словами ответил Стас. Глаза он опустил и на мать не смотрел.

— Но почему?! — голос Анны Павловны зазвенел.

Стас поднял голову, и я увидела, что глаза у него черные, совсем как тогда, на крыше.

— Потому что мне надоело! Все надоело, слышишь? Твоя ложь об отце и жалость людей. Что я — маленький? Я же знаю: папочка жив и здоров, никакой не герой, а знать нас не хочет. И никогда не хотел! Вот и я не хочу, чтобы меня пристраивали в мореходку твои друзья. Чтобы жалели «милого сыночка бедняжки Анны Павловны». Я сыт их жалостью по горло, на всю жизнь!

— Стасик, Стасик, что ты говоришь? Ты сам не понимаешь несправедливости упреков. Господи, девочка смотрит...

Анна Павловна поспешно захлопнула дверь. Слушать я могла бы и дальше, но стало совестно — ведь не зря же люди придумали двери, которые умеют закрываться. Я отошла в самый дальний угол нашей комнаты и присела на мамину кровать.

Сколько всяких слов я услышала за одно утро! Попробуй, разберись, где в них правда? Спросить некого: мама на работе.

Но среди разноголосицы мыслей, как тихая, настойчивая мелодия, пробивалась одна: Стас, может быть, и не уедет, я не потеряю его навсегда. Если бы это случилось! О горе его матери я не задумывалась — просто еще не умела.

Мы шли нехоженой тайгой. Директор совхоза, двое эвенков-пастухов, я и Уля. Приехали в бригаду к дяде Яше Шутову, да забралась она в такую глушь, что и вездеходу не пройти.

— Близко тута, километров десят, — сильно шепелявя, успокоил нас пожилой пастух.

Второй, в мохнатом собачьем малахае, неожиданно очень чисто выговорил по слогам:

— Ро-ман-тика!

И больше ничего не добавил.

Директор, Иван Иваныч, улыбнулся.

— А что, Костя, надоела она, романтика-то?

Костя промолчал.

Мы поднимались на водораздел неведомого горного хребта. В этих местах люди не утруждали свою память лишними названиями. Бесчисленные речки именовались одинаково: Алеки, то есть Быстрая, а горы — просто сопками. Даже большому, поразительно красивому озеру имени не придумали. Озеро возникло на нашем пути внезапно, словно перенесенное чудом с далекого юга. Формой и глубокой синевой оно напоминало Рицу. Возле самой воды столпились невероятно высокие лиственницы с черно-бархатными стволами и остатками бледно-золотистой хвои на разлатах ветвях. В тени скал покачивалась на легких волнах стая хохлатых уток. Словно нарядный игрушечный флот, которым некому было играть.

Никто не торил троп среди огромных замшелых валунов вдоль берега озера. В нехоженой тайге ничто не приспособливалось к нуждам и привычкам человека. Неломаные кусты и деревья протягивали ветви, куда вздумается, серый и лунно-зеленый лишайник на валунах не прятался от людских ног — ровным ковром покрывал всю поверхность камня. Все, что жило или тихо умирало вокруг, принадлежало одной тайге.

Перевалив через вершину кряжа, мы вошли в густой кедровый стланик и тут же потонули в его смолистой и паутинной чаще. Хуже нерубленой чащобы из стланика ничего не бывает. Это не куст и не дерево. Слишком высоко, чтобы идти, как среди кустарника, разводя ветви на уровне плеч. Слишком низко, чтобы нырять под ветвями. Утомительно разнообразный и в то же время одинаковый переплет коряжевых, скрученных стволов и ветвей с жесткой иссиня-зеленой хвойей, серые пластины паутины и скользкие, многоэтажные кучи сгнивших маслят на редких прогалинах. Обманчивые, никуда не ведущие, звериные ходки меж камней и полная потеря чувства направления — ведь самый дальний предмет всегда ближе твоей вытянутой руки. Без пастухов я бы ни за что не решилась идти через стланик напрямик — любой ценой обошла бы стороной его обманчивый зеленый разлив.

Наконец стланик поредел, стали попадаться елохи, повеяло вольным речным ветерком. Я вздохнула с облегчением: скоро стойбище. Да вон и собака... значит, люди близко.

Шли мы не друг за другом — без тропы так удобнее. И в ту минуту я лишь слышала своих спутников, но не видела никого. Крупная бурая собака мелькнула в низком, испестренном оставшимися листвами, березняке, потом выбежала

мне навстречу и встала. Остановилась и я. На меня в упор уставилась курносая насмешливая морда молодой росомахи. Свирепость притаилась только в коричневых, узко сощуренных глазах зверя. Росомаха отлично понимала, что я — не одна, ее просто одолевала любознательность. Некоторое время она изучала меня, наверное, делая про себя какие-то необходимые выводы, потом отвернулась и лениво потрусила прочь. Бурый трепаный мех спускался с боков почти до земли, и оттого казалось, что зверь не бежит, а словно бы переливается через камни и коряги.

— Эгей, где вы там? — окликнул меня Иван Иваныч, и росомаха пустилась наутек. Мужской голос напомнил ей пастухов и их ружья.

— Куда вы пропали? — спросил меня с некоторым беспокойством Иван Иваныч, когда я поравнялась с ним.

— Росомаху встретила, — ответила я, как могла, спокойно.

— Молодой, старый? — заинтересовался пожилой пастух.

— Молодая...

— Этот ши-ибко глупый! Ходят люди смотрит, олешки смотрит — нисего не берет. Один заяц добывает.

Костя поглядел на меня из-под своего малахая с явной насмешкой: что, дождалась «романтики»?

А Уля вдруг проговорила раздумчиво:

— Хорошо, что ружья у вас не было...

— Старая могла бы и кинуться, — возразила я.

— Все равно убежала бы. Они умные...

— Лучше не отставайте больше, — рассудительно сказал Иван Иваныч и был, конечно, прав.

Мы вышли на берег какой-то из здешних Алеки. Перед нами оказалась галечниковая отмель с редкими кустиками ивняка, который словно дорогу нам указывал узкими багряными флагами последних листвьев. Действительно, быстрая коричневая вода спешила вниз, в озеро. Сердито шипела и белела от злости, спотыкаясь о камни. Поверху густо шла крупная рыба. Коричневые рыбины, чуть темнее воды, с плоскими головами и широкими веслами плавников змеились по дну между камней, толкались тупыми лбами на перекатах. Их было так хорошо видно, что от каждой падала на дно легкая тень.

— Форель сплавляется, — кивнул в сторону речки Иван Иваныч. — Запоздала она в этом году.

За поворотом на длинной косе открылось стойбище. Три палатки и лес вешалов с вяленой рыбой. Незлые черно-пегие

лайки подбежали к нам и стали лизать руки. В любом стойбище новый человек — дорогой гость.

Из палатки вышла очень красивая молодая эвенка и улыбнулась нам. Я сразу поняла: Улина сестра. Тот же, редкий у эвенков, узкий очерк лица, те же большие карие глаза, но лицо заливает румянец удивительной нежности и красоты.

Узнала сестру:

— И ты к нам? Как это решилась?

Уля улыбнулась своей медленной улыбкой.

— Мы же на вездеходе, а тут близко. Хорошо дошли. Дядя Яша говорил, Юрасик ходить начал... я хотела посмотреть.

— Посмотри. Идемте и вы с нами, пожалуйста. — Дуся широким жестом пригласила и меня в палатку.

— Яков-то где? — спросил Иван Иваныч.

— На речке, кажется, — не очень охотно ответила Дуся.

— Он мне не сказываеться, куда идет.

— Ладно. Сам найду...

— Можно я пойду с вами? — попросила я. — Извините, Дуся, я вернусь еще к вам...

— Идемте, коли не надоело ноги ломать, — согласился Иван Иваныч.

А мне просто хотелось еще немного подышать настоящим вольным воздухом. Даже вблизи от города в лесу дышится легко, но мы можем никогда не узнать, насколько этот воздух отравлен дымом. Он только кажется чистым. Здесь же, если не считать маленькой котельной совхоза, оставшегося позади, на полторы тысячи километров не дымила ни одна труба. Воздух был чист и свеж до опьянения, от него кружилась голова. И еще он удивительно хранил звуки и запахи.

Сначала я услышала легкий чакающий перестук копыт, почуяла резкий мускусный запах зверя и только после этого увидела оленя-быка. Он, гарцуя, выбежал из кустов и встал, опустив рогатую голову чуть ли не до земли. Лоснящийся, почти черный бык с широкой белой опушкой на груди словно бы вырос вдвое от боевого задора, и мне стало немного не по себе: вдруг он и впрямь решит с нами драться?

Иван Иваныч коротко, резко свистнул. Бык нервно мотнул головой и вдруг совсем спокойно потянулся к кочке, где уцелели какие-то зеленые хвостики. Словно и не он вызывал нас на бой секунду назад. Потом повернулся, потряс на прощанье куцым хвостиком и исчез в тальнике.

Некоторое время нас провожал только горький запах осеннего листа и пресной, незамутненной воды, в которой из-

за быстроты течения даже тина не приживалась. А потом в нос ударили клейкий сладковатый дух свежей рыбы, и донесся плеск дождевых струй. Но светило солнце. Да и не бывает в эту пору дождей на Колыме.

За поворотом все стало ясным: на берегу кипела работа. Дядя Яша и водитель нашего вездехода (как только успел сюда раньше нас?) заводили поперек речки сетку, а трое ребятишек хлестали по воде ветками, загоняя рыбу. На узкости рыбе уйти из сети некуда... Целая груда форели трепетала и плескалась в яме на берегу. Я глянула на нее — и про все на свете позабыла. Всякую рыбу видывала за годы жизни на Колыме, но такой...

Куда девались коричневые тупорылые рыбины? Голубое, в пурпурных пятнах тело форели напоминало торпеду. Как сигнал опасности, пылали закатным светом плавники по бокам, очерченные по краю еще и белой полосой. Рыба эта собрала все краски поздней колымской осени: грозную синеву облаков, алый свет ветреного заката, белизну первого снега на сопках.

— Рыбу — в речку! Быстро! — незнакомым мне жестким голосом скомандовал Иван Иваныч. — А то вот корреспондент из газеты со мной. Напишет — под суд пойдешь!

Я опомнилась: действительно, радоваться-то нечему.

Дядя Яша подошел к яме и уставился на меня белесыми от злости глазами. Я молча нагнулась, подхватила за жабры двух икряных самок и швырнула их в воду. Он понял мой жест правильно.

— А мать ее в шкуру, эту рыбу!

Яма отделялась от реки песчаной перемычкой. Двумя ударами сапога дядя Яша расчистил путь к воде, и форель потекла обратно в реку. Вдруг улыбнулся криво, глядя на Ивана Иваныча.

— Десяток-то оставлю? Вам на угощенье...

— Оставь, — спокойно согласился тот, и сам отобрал несколько крупных самцов.

На водителя вездехода Иван Иваныч только глянул искоса, и тот суетливо начал укладывать рыбу в напрасно разинутую пасть огромного мешка.

Обратно шли не торопясь. Мужчины курили, и я обогнала их, чтобы дым не мешал.

— Вот скажи, Яков, по совести, — начал опять Иван Иваныч у меня за спиной. — Зачем тебе这么多 денег? Рыбыто небось тонну летом насолил? Вешала ломятся, это я сам видел... Белку всю перевел в наших местах, за соболем к якутам лазаешь. Жаловались... Миллион тебе нужен, что ли?

— А хоть бы и миллион, вам-то что... — буркнул Шутов.
— Не вашими руками заработано. Мне не век в тайге вековать. Выберусь на материк когда-нибудь, денежки пригодятся.

— Не забирался бы ты лучше в тайгу... — вздохнул Иван Иваныч.

Они помолчали. Иван Иваныч догнал меня и пошел рядом.

— Между прочим, про него как-то в нашей газете писали. Герой, мол, покоритель Севера. А он разоритель на деле-то...

— Но, но! Полегче со словами! Здесь не у себя в конторе!

Кажется, у Якова лопнуло терпение, и надо было срочно вмешаться.

— С нами Уля приехала. Она с вашей женой осталась, — начала я светский разговор.

— Чего это ее принесло? Я ее в гости не звал... — по тону Якова я догадалась, что и тут беседы у нас не получится.

— А что плохого в том, что она приехала? — удивилась я.

— Дуське книжками своими голову мутит — вот что! Навычитывает всякой чепухи — и давай рассказывать. Бабадура, уши развесит и слушает... А потом ко мне: что это я не так с ней говорю да не эдак живу... Ну дыгна, одно слово!

...Над палаткой вился дымок, и собаки сидели вокруг нее чинным полукругом, уставив носы на дверь. В палатке варили оленину.

Я откинула брезентовый негнущийся полог. Возле двери на крошечном треугольнике, выгороженном палками, ютилась железная печурка. На печурке булькал старинный котел, вдвое больше ее самой. А все остальное пространство застилали оленьи шкуры. У одной стенки свалены подушки, сумки, одеяла, у другой приткнулся маленький столик почти без ножек.

Уля самозабвенно возилась на шкурах с малышом, похожим на неумытого пасхального ангелочка. Светлые волосы мальчионки вились крупными локонами, а голубые глаза косили чуть-чуть, почти неприметно. Одет он был в современные ползунки.

От игры лица Ули раскраснелось, и теперь она выглядела почти такой же красавицей, как сестра. Даже лучше из-за глубокого чуткого блеска глаз.

Увидев, с чем мы вернулись, Дуся не сказала ничего. Я поняла: приучена не спрашивать лишнего. Рыбу небрежно

выпотрошила и бросила в ведро с водой, заменявшее второй котел. Варилась эта рыба минут десять со щепоткой соли. Мясо — чуть дольше.

Ели угощение руками, макая в крупную серую соль. На тесном столике лежали для всех галеты, в чайнике — дочерна заваренный чай и сахар на блюдце.

Мужчины, садясь за еду, переглянулись многозначительно, но если даже у кого что и было припасено, достать при Иване Иванныче не решились. Обошлись чаем.

За моей спиной устроилась узкомордая лайка по кличке Авла. Она не клянчила кусков и не своевольничала. Чернобелая шерсть ее была шелковистой и совсем не пахла псиной. Если я давала Авле хрящик, она в благодарность тихонько лизала меня в ухо. От остальных собак торчали только носы в дверях — в палатку они не допускались. Авле — особая честь, она — соболятница.

Ели долго. Еще дольше пили чай. Яков по-эвенски отхватывал ножом куски оленины возле самых губ, рыбу глотал прямо с костями. Огромный, с раскаленным от печного жара лицом, он напоминал древнего идола. И как идолу подкладывали ему лучшие куски обе эвенки. Я устала больше, чем от ходьбы. В палатке тесно, ног не протянешь, сидеть можно только на корточках. Иван Иванныч привык, ему хоть бы что, а меня через полчаса уже не радовало и царское угощение.

Разговор не клеился. Я смотрела на Улю и думала: ни за что не поверить, что эта девочка читала Тургенева и плакала над судьбой Джеммы!

Решив, что мне скучно, Дуся, с молчаливого согласия мужа, разложила передо мной свои наряды. Отрезы шерсти, пушистые норвежские свитеры, невесомое белье и театральные платья из кримплена. Все это, сложенное вдесятеро, хранилось в оленевых сумках. Развернутые вещи затухло пахли краской и плесенью. Они никогда не служили человеку. Стalo не по себе от вида этой напрасной роскоши.

— Помогли бы Уле в город уехать на лечение. И учиться ей надо, — сказала я, обращаясь к хозяину дома.

Он молча отвернулся, а Дуся вдруг поспешно начала собирать разбросанные по шкурам наряды. Словно всему этому добру грозила опасность.

Иван Иванныч поморщился.

— Если захочет, сами ее пошлем к зиме. За счет совхоза.

Уля, молчавшая до этого, вдруг подняла голову.

— Ничего мне не надо! Вы только ссорите меня с родными! Здесь Юрасик, здесь... все наше, вам никогда не понять!

Я ошеломленно молчала — не ожидала этой вспышки.

Кажется, Уле стало стыдно, она нарочно захлопотала у печурки, раскладывая каждому на что придется новые порции рыбы и мяса.

Передо мной на обрывке тетрадочного листа тоже оказалась лакомая спинка форели. Сваренная в одной воде, сочная нежно-розовая рыба была вкуснее любого ресторанных деликатеса. Я оторваться от нее не могла. А каково забывать это тем, для кого душистая свежая рыба и оленье тающее мясо — хлеб детства? Вместе с отъездом в интернат на учебу, эвенк теряет и связь с тундрой, с ее природными дарами. Там, в интернате, чисто и тепло, но там же привычное для нас мороженое мясо и мороженая рыба из неведомых морей. Много острый приправ и ничего первозданного, как эта, только что выловленная, форель. А необходимо соединить несоединимое... Не впервые приходили ко мне эти мысли, но, как и прежде, я не находила на них ответа. Кажется, за долгие годы жизни в тайге не нашел его и Иван Иваныч.

Авла просительно толкнула меня носом в шею: если не ешь сама, почему не даешь мне?

Я отдала ей мясо, а себе оставила рыбу. Дуся укоризненно посмотрела на меня: я сделала не то, что положено в тайге. Мясо всегда дороже рыбы.

Нет, не могла я спорить с Улей... Я тихонько выбралась из палатки — стало невыносимо жарко от докрасна раскалившейся печурки, а стены обжигали плечи холодом.

За мягкими переливами дальних вершин догорала полоска заката, похожая на плавники форели. Съежились в ожидании холодной ночи иголки на стланнике. Поседели от изморози камни.

В долине скользили среди кустов ивняка серые тени, слышался сухой шорох, и то и дело вспыхивали то зеленоватые точки глаз, то белые флагшки хвостов пасущихся оленей.

Я побрела вдоль берегового кряжа, постепенно поднимаясь выше. Пологая сопка напоминала спящего зверя. Передние лапы в седоватой шкуре из ягеля он положил на берег речки, а голова и плечи терялись в темноте. Ягель был густой и глубокий, в нем тонули ноги. Изредка попадались темные островки брусничника со сморщенными переспелыми ягодами. Я находила их на ощупь. После жирного мяса бруслиника приятно освежала рот.

— Что вы тут ищете? Ягоды? Попросили бы у Дуси...

Уля подошла бесшумно — ни одна веточка ягеля не хрустнула под ногами. Почему-то я вспомнила, как тихо исчез из клуба в поселке огромный дядя Яша. Ясно же, прошел он

тогда, как и другие, мимо меня, но я его и не видела, и не слышала...

— Здешние ягоды вкуснее, их уже морозцем успело прихватить, — ответила я. — А ты чего ушла от гостей? Скучно стало?

Мы вдвоем, не сговариваясь, присели на сваленную бурей лиственницу. Уля повела плечом почти танцевальным плавным движением.

— Нет, мне не скучно. Там Юрасик... Мне поговорить с вами надо. Можно?

— Конечно!

— Вы не сердитесь на меня за те слова. Они злые. Я не то хотела сказать, и Иван Иваныч знает. Он мог бы и не дразнить дядю Яшу.

Про себя я поразилась ее тонкой наблюдательности, но не стала перебивать. Уля продолжала:

— Я ведь понимаю, что Иван Иваныч справедливее дяди Яши, и мне он тоже хочет добра. Если бы я была здоровая, или... — она вдруг запнулась, — ну, словом, можно было бы меня вылечить совсем, понимаете? Я бы тогда давно уехала учиться. Уехала, а потом бы снова вернулась сюда.

— Даже если бы тебе не нашлось здесь работы по специальности?

Уля опять повела плечом.

— Как не нашлось? Я стала бы лечить людей, а врачи нужны везде.

Хорошо, что в сумерках она не видела моего лица — так ожгло меня стыдом за собственные глупые слова!

— Но это все «коли бы...» А сейчас что ж? Вылечить меня нельзя, я это давно знаю. Хоть никто мне и не говорил прямо. И я люблю Дусю и Юрасика, самые, самые они у меня дорогие! Мне нельзя ссориться с дядей Яшем. Вот почему я сказала те слова. А вас, знаете, я о чем попрошу? Смогли бы вы передать тому человеку одну вещь от меня? Не сейчас... Вам перешлют...

Теперь уже мне не было жарко, но ничуть не стало легче.

— О чём ты говоришь?

— Вы поняли меня, зачем спрашивать? Вы сможете найти его? Только сделайте это сами, ладно? То, что я хочу передать, — непростая вещь.

— Даю тебе слово, что исполню все, что ты хочешь. Но, бога ради, не надо грустных мыслей, твоя болезнь не так безнадежна, как тебе кажется...

— Я вам верю, — сказала Уля, как всегда легко и спокойно отбросив даже малейшую попытку утешения.

— А знаете, почему я именно вас об этом попросила? — проговорила она совсем другим тоном, почти весело.

— Не знаю.

— Потому что вы не прогнали Авлу. Я все время смотрела, как вы ее кормите.

— Я люблю собак... вообще все живое.

— Многие так говорят, — тихо, с какой-то старческой мудростью ответила Уля.

Мы еще посидели на бревне, ни о чем больше не разговаривая. Закат угас, но тьма не наступала. Светились пятна снега на вершинах сопок, чуть слабее — поля ягельника перед нами и само небо.

Я вдруг подумала: если бы на моем месте сейчас оказалась ты? Как повела бы себя Уля, какие слова нашла бы для тебя? Но окружившая нас тайга была настолько несовместима с твоим столичным миром, что вопрос показался мне праздным.

Полгода спустя я встречала весну на юге. Попала я на Кавказ случайно. Не собираясь туда, как другие, заранее, долгими зимними месяцами. Наверное, поэтому все окружающее никак не укладывалось для меня в рамки реальности.

Еще на перроне поразил живой запах давно оттаявшей земли и тонкий аромат белых ирисов. За спиной я оставила глухую колымскую зиму, поэтому даже дотронулась пальцами до хрупкого, почти прозрачного лепестка, чтобы поверить себе. Если бы я могла, я бы и дальше касалась руками всего, что видели мои глаза.

Бело-розовыми леденцово-сливочными облаками уходили ввысь цветущие сады, белесые пряные эвкалипты напоминали не живые деревья, а призраки. Помню, я подумала, что лес из них должен выглядеть страшно.

А вокруг кипела пестрая южная жизнь. Белые домики лепились вдоль скал. Многие наполовину повисли в воздухе, а жителям — хоть бы что! На всех улочках уйма замурзанных, трескучих, как кузнечики, ребятишек. По стенам карабкаются розы и улитки, из каждой щели торчит росток инжира. По утрам в поселке пахнет жареной скунбрией или рыбой-иглой, у которой нос похож на ледяную сосульку. Днем из садов тянет терпким дымом горящих ветвей. Вечером — пресным теплом нагретого камня и черничным запахом вина «изабелла». Бродят самодовольные индюки и безответные псы, часто на трех ногах.

Центром этого человеческого муравейника оставался

базар. Еще на рассвете стекались туда будущие продавцы. Покупатели придут много позднее. Мужчины с отчужденными лицами и янтарными четками на рукаве модного пиджака. Худые черные женщины с огромными корзинами на голове и в руках.

На столах жгучая аджика, слезливый сыр-сулгуни, серый инжир и грейпфруты. Невероятное количество зелени, которую жуют с чем попало взрослые и дети. В ларьке репродукция «Царевны Несмеяны» Васнецова с надписью: «Картина худож. «Последняя царевна» размер 35x40 см.» Почему мне запомнилась эта нелепость? Что-то в ней было от выдуманности курортной жизни.

Помню и погашенные лица женщин в черных, по-нашему вдовьих, платках. И цветущих самодовольных мужчин в бесчисленных чебуречных.

— Наши жены никогда не работают! — сказал мне с гордостью один из таких людей и предложил стакан легкого светлого «псоу». Я отказалась.

Однажды я захотела помочь женщине, несшей вовсе уж неподъемную корзину с фруктами. Подошла к ней, не зная, как лучше заговорить? Она посмотрела на меня настороженно. Худое лицо под черным платком отливало мертвенней желтизной грейпфрутов у нее в корзине.

— Купить хочешь, да? — неуверенно спросила она. Сейчас же обернулся и замер хищно ее, до этого ко всему равнодушный, красивый муж. Четки прервали свой непрерывный бег между его пальцев.

— Нет, я просто посмотрела, очень хорошие у вас фрукты, — все, что нашлась я ответить.

Взгляд его снова стал безучастным и чуть-чуть презрительным. Ее лицо исчезло под платком. Они пошли дальше, удивительно похожие на другие такие же пары. Через минуту я потеряла их в толпе, медленно, почти торжественно, стекавшей с горы к гостеприимно распахнутым воротам базара.

Больше я не ходила на рынок. Предпочитала море и горы, заросшие серой пыльной иглицей. Дикая земля под южным щедрым небом не хотела родить ничего красивого. Как будто природа пыталась соблюдать какое-то, ей одной понятное, равновесие между тем, что сделала она сама и чего на этой же земле достиг человек.

...В тот день с утра лил дождь. Не сеялся нудно и бесконечно, как на Колыме, и не шел, как летом на Волге, а именно лил. Совершенно прямые струи воды падали на землю с тяжелым плеском. Деревья и кусты мгновенно намокли и напоминали старую театральную декорацию. Особенно японс-

кая магнолия с розовыми, расщепленными дождем, чашками цветов на безлистных стволах. Море посерело и мелко вспенилось. Люди исчезли. И только мелодия, доносившаяся из парка, удивительно шла к этому ненастному дню. Это была старинная грузинская песня, которую прекрасно пел мужской хор. Мне и прежде нравилось грузинское многоголосие: за тончайшей его культурой вставали века. Но только в ту минуту я всей душой поняла его корни. Песня эта родилась в такой же непогожий день сотни лет тому назад, под шум моря, плеск дождя и неповторимый голос ветра из горных ущелий. Она вобрала в себя все эти дикие звуки, но не осталась ими, а превратилась в песню, потому что спели ее — люди... Те же, кого я видела на базаре. Те же, что построили в горах крепости и храмы невиданной красоты и долговечности.

Я зашла на почту. Девушка с великолепной косой и всегда печальным носатым лицом узнала меня:

— Вам бандероль!

Передо мной оказался пакет с изрядно обтрепанными краями — долго искал он меня по стране. Незнакомый почерк...

В пакете лежала толстая ученическая тетрадь, письмо и маленький сверток. Писал мне Иван Иваныч, директор совхоза: Уля умерла во время операции... Ее все-таки отправили в город, но слишком поздно.

Тетрадь, что-то вроде дневника, предназначалась мне, а в свертке лежал древний амулет, забытое сегодня божество Улиных предков. Старый олений рог, из которого он был вырезан, даже слегка порозовел от времени. Его я должна была передать тебе...

Я снова вышла на улицу, уже не слыша музыки, не видя окружающего. Шла, сама не зная куда. Если бы не угодила в очень глубокую, чуть не по колено, лужу, так бы и не оглянулась. Оказывается, я забрела в совсем незнакомое место. Передо мной возвышалась замшелая стена из дикого камня, а вдоль нее зябко жались друг к другу невиданные деревья. Ветви они распластали по стене, словно люди, греющие руки зимой возле печки. Треугольные, дымчато-матовые листья, непохожие ни на что привычное, и между ними — гроздья узких синих колокольцев. Цветы эти под дождем сияли неудержимо радостно, как в солнечный день. Несколько цветков плавало в луже у меня под ногами. Они не погасли и там.

Я стояла под сказочными деревьями и повторяла про себя, как заклинание:

— Если бы Уля могла это видеть! Если бы!

Мне казалось тогда, я просто верила: синяя красота спас-

ла бы ей жизнь! Даже и в голову не пришло в тот момент, что печальная посылка с Колымы дает мне самой право еще раз увидеться с тобой.

Домой я вернулась мокрая с головы до ног, с подобранными в луже синими цветами. Сорвать хотя бы одну веточку с дерева я не решилась. Так же, как невозможно для меня отломать на память кусок резьбы с иконостаса или мозаики с фронтона дворца... Есть вещи, на которые должно только смотреть.

В толстом и скучном ботаническом справочнике я легко нашла свое чудо, и имя его оказалось таким же необычным, как само растение: павловния. Назвали дерево так в честь дочери императора Павла I, но тот, кто давал название, не подозревал, что Павловна — только отчество, а не второе имя. Один из бесчисленных ботанических курьезов...

Я подумала: сколько прекрасных цветов носит имена забытых принцесс и как жаль, что не осталось на Земле неизвестных растений, которые можно было бы назвать именами истинных героинь нашего времени! Несправедливо.

К вечеру дождь внезапно кончился. Душная глухая тьма опустилась на землю. Время спуталось: белые шапки цветущего «чайного дерева» возле нашего дома напоминали кусты, отяжелевшие от снега. Дробил над морем тьму узкий луч прожектора, но она не отступала, а делалась еще гуще, тяжелее. Крупным летним градом стучали в мое освещенное окно майские жуки.

Но вот что-то стронулось в ночи, я не сразу поняла — что. Возник ветер. Сначала еле ощущимый, потом упругий, сильный. И каждая капля этого ветра была напоена тягучим, сладким, ни с чем не сравнимым, ароматом.

В эту ночь в горных ущельях зацвела дикая жимолость — каприфоль. Тысячами, миллионами восковых, дурманно пряных цветов... Я поставила божка на окно под струю ветра.

Он пристально всматривался в ночь узкими прорезями глаз, и мне казалось, что рот его все шире расплывается в улыбке, а ноздри чуть намеченного носа дрожат. Незнакомый дразнящий аромат очаровал его. Ему ко многому надо было привыкать заново. Но я не хотела, чтобы он забыл прошлое — горький запах кострищ, звериную струю осенних боев оленей, оглушительную свежесть тундрового снега. Мне хотелось, чтобы тебе он принес, как защиту от бед, не только короткую нерасцветшую любовь Ули, но и то, что могла дать моя собственная зрелая душа.

Колдовской ночью, когда в ущелье зацвела каприфоль, многое казалось возможным...



Вечером Стас не попросил у меня цветов. Сам сорвал несколько веточек греческого левкоя, перегнувшись через наш условный заборчик. Сказал: «Спасибо!» — и ушел.

Выглядел он усталым и чужим. Откуда вдруг бралось это «чужое» в его лице, я не знаю. Перемена во внешности затрагивала что-то очень глубокое и тайное: словно бы в нем, рядом с его собственной, на время поселялась вторая душа, не умевшая радоваться жизни. Стас не оглянулся ни разу. Я могла бы прямо вслед за ним идти к «сковородке». Но не решилась сделать это немедленно. Стояла, прислонившись к хилой воротине, и провожала его глазами, пока он не исчез за углом.

Меня окружал доступный мне мир нашей улицы. Тонко золотилась легкая, до ночи не оседающая, пыль над разбитой мостовой. В предвечернем небе плели невидимое круже́во черные стрижи. Медленно стучало на Волге усталое сердце буксира, тащившего плоты против течения. Эта земля принадлежала мне и другим, ничем не примечательным, людям.

А там, возле «сковородки», начиналась иная, недоступная мне пока, земля красивых людей и непонятных, острых отношений.

Все же я пошла вслед за Стасом...

Еще днем ветер растрепал над городом тучу, ее обрывки с полудня никак не могли собраться вместе, но и не уходили совсем. Я шла и поглядывала на небо: не набежит ли дождь? Тогда Стас скоро вернется домой.

Иола опаздывала. Стас ждал ее возле входа, чуть в сто-

роне от других ребят. Но еще больше на узком пятаке уцелевшего асфальта толклось одиноких нахохленных девчонок. Не понять: то ли ждут кого-то, то ли пришли на авось... Многие из них украдкой поглядывали на Стаса.

Мне на этой земле ничто не принадлежало, и я встала под кленом в тени, никому не мешая. Рядом со мной, ворча, пристроилась старуха с завядшими цветами — ее прогнала от ворот сада милиция. Чуть поодаль под одним из деревьев пристроилась Люська. Пришла одна. Ждала, что ли, кого-то? Большие старые клены редкой цепью окружали «сковородку», словно защищая крошечный светлый мирок от окружающей тьмы.

Стас ждал внешне спокойно, но лицо его медленно напрягалось, как тетива лука. Я чувствовала: тронь только пальцем — сорвется. Если бы я могла подойти к нему и утешить! Но любые мои слова не значили бы для него ничего.

Пятачок возле входа пустел: дождавшиеся и не дождавшиеся уходили каждый своим путем. Стас все ждал. Ненужные цветы никли в его стиснутых пальцах. Наверное, он просто о них забыл и только потому не бросил на землю. Рядом со Стасом прилипло к забору несколько парней. Заглядывали в щели, свистели кому-то. Ждали, пока отвернется милиционер у входа, чтобы махнуть на ту сторону. Больше на пятаке не осталось никого.

Но вот из-под деревьев появилась запоздалая пара, и сердце у меня обмерло: это пришла Иола и с ней щеголоватый, сверкающий лейтенант. Почему он показался мне таким — не знаю. Наверное потому, что был молод, и все, что ему принадлежало, тоже сияло новизной.

Сегодня уже почти никому не понять, какой неодолимой привлекательной силой обладал в те годы человек в военной форме. Во всем городе не нашлось бы девчонки, которая, хоть мельком, даже любя другого, не позавидовала бы Иоле. Я понимала: Стас перед ним безоружен.

Нет, не хватило у нее характера пройти мимо Стаса, как мимо пустого места. К таким, как Иола, это приходит позднее, вместе с опытом и разочарованием. Потому что жизнь красавиц, как ни странно, редко бывает счастливой.

Иола не удержалась, скосила глаза на Стаса и воровато съежилась. Ее победительный спутник ничего не заметил, потому что в еще большей степени, чем она, был занят сам

собой. А мне показалось в ту минуту, что Иола совсем-совсем некрасивая и маленькая.

Я смотрела на нее и на Стаса, но краем глаза видела, как от деревьев, им наперерез, идет Люська. Странно идет, словно не по своей воле, а кто-то тянет ее на веревке. Вот поравнялась с Иолой, но смотрела она только на Стаса.

Никогда я не видела у человека такого исковерканного лица. Самое страшное было в том, что Стас улыбался — оскаленной мертввой улыбкой. Деревянно поднял руку и протянул цветы Люське. Она взяла их, вряд ли понимая, что делает. Лицо ее побелело, как клочок бумаги, валявшейся у нее под ногами. Стас так же деревянно взял ее под руку и повел к воротам.

Он шел рядом с Иолой и ее лейтенантом, почти касаясь ее плечом, и я уже не видела его лица. Только кричащую от боли спину и одеревенелые плечи. И мне самой хотелось закричать: то, что он делал, было хуже удара ножом. Он не должен был идти к воротам с Люськой. Я же видела, чувствовала, как в Стасе умирает душа.

Крайнее к воротам дерево словно разделилось надвое: от ствола клена бесшумно отделился человек. Раздерганный и мягкой походкой подкатился к Люське вор Родька. Словно и не замечая Стаса, взял за подбородок.

— Не за так? Или как?

Наверное, это показалось Стасу спасением: он стремительно повернулся к Родьке, готовый драться до конца, но он ничего не успел сделать. Серой ночной птицей мелькнула над головой Стаса Родькина рука. Стас без стона прислонился к дереву, а потом скользнул на землю.

— Уби-и-или! — взвыла старуха возле меня.

Время остановилось и спуталось. Что было сначала, а что потом — не помню.

Разрозненные картины.

...Люська нагибается и молча подбирает цветы.

...Я на коленях рядом с ним, трогаю за непонятно отяжелевшее плечо. Хочу приподнять — и не могу, тело его словно притянула к себе земля. Я кричу. Зову на помощь! Набегает облако, знобкие капли дождя падают мне на голову. Одна разбивается в брызги о широко открытый глаз Стаса. Веко не дрогнуло. Дождь собирается в глазу, как в голубом озерце...

...Крик Иолы:

— Да сделайте же, сделайте что-нибудь!

Непонятно, откуда она взялась? Я вижу только глаза-озерки... Потом кто-то нагибается и кладет на лицо Стаса мокрую косынку. Больше ничего не помню, в памяти пропал.

Не знаю, как хоронили Стаса. Я не видела этого. Первое воспоминание после того вечера: я на кухне, разжигаю таганок. В голове поющая пустота. Жить легко. Я не уверена даже в том, что меня зовут Леной, но мне и это безразлично.

Далеко, за тридевять земель от меня, льется голос тети Пани Бахаревой:

— Так, милая, и нашли ее. Цветы-то к самому лицу поднесла — и под поезд. Насмерть убило!

— Тетя Паня, вы это о ком? — спрашиваю я, и кухня вдруг настороженно замолкает. Женщины смотрят на меня испуганно и жалостно. И тогда я вспоминаю все!

Ведь это о Люське говорят, я же и прежде слышала о ее гибели, я только ничего не понимала. Руки у меня опускаются, я тыкаюсь лбом в закопченный край печного челя и плачу навзрыд.

Женщины даже не пытаются меня успокаивать.

С тобой гораздо легче встретиться случайно, чем нарочно. На письмо ты не откликнулся, и мне пришлось ехать в Ленинград — я должна была передать тебе Улинного божка. Ради самой себя я бы не поехала. Понимаю, что ты очень занят и писем получаешь много. Но вряд ли даже среди сотен нашлось бы одно с таким необычным содержанием, как мое. Ты не мог его не заметить. И промолчал.

Я шла по весеннему Ленинграду, думая о тебе. Что ты за человек, достоин ли Улиной доброты? Тихо угасал не по времени теплый солнечный день. Медленные сумерки казались предвестием летних белых ночей. Серебристые отсветы ложились на лица женщин, на лепестки нарциссов в руках тех, кто спешил на твой концерт. Скоро людской разрозненный поток превратился в реку, которая вытеснила на

обочину все, что мешало ее течению. Берегами реки были те, кто отчаянно и напрасно ждал лишнего билета.

Я плыла по течению в общем потоке, хотя могла бы и не спешить. Мои друзья, доставшие мне билет, позабочились и о нашей встрече после концерта. Мне очень хотелось увидеться с тобой в другой обстановке, я почти наверняка знала, что в закулисной суете ничего не успею тебе рассказать. Но выбор места встречи принадлежал не мне...

Задумавшись, я не сразу заметила, что людская волна вдруг словно бы споткнулась о невидимое препятствие и разделилась надвое. Основное русло исчезало в тяжелых, не приспособленных к многолюдью дверях причудливого дворца, ставшего на этот вечер концертным залом, а ручеек утекал в пасмурный переулок. Я пошла следом за ручьем... И неожиданно оказалась возле распахнутых церковных дверей. Я не понимала, что могло привести сюда нарядных, спешивших на концерт, и потому следом за ними вошла в церковные двери.

Внутри церковь напоминала вокзал. Затоптанный пол, гулкая высота и характерная разобщенность людей. Не знаю, за каким душевным утолением можно было прийти сюда? Словно бы очень издалека доносилась теноровая скороговорка священника и дрожащее «господи помилуй» немолодого хора. Все подходы к алтарю черной стеной отгородили старушечьи спины, и то, что происходило у входа и в боковых приделах, словно бы никак не относилось к печали великопостной службы. Щёлкали копейками продавцы свечей, сиплым шепотом корили друг друга нищие, несколько старух, как большие черно-серые муhi, облепили икону богородицы в боковом приделе, не в лад кланялись ей и бормотали каждая свое... Все это велось точно так же испокон века — всегда.

А вот нарядные женщины возле дверей были неожиданы здесь, но здесь все ширилось и безмолвно кричало о беде в сумеречном глухом мире свечей и теней. Роднило женщин одно: молодые и старые, они по-разному, но жестоко были обделены красотой. Нарядные платья и хитрые прически издевались над ними.

Каждая становилась на колени, подстелив на грязный пол газету, спрятанную в сумке. Я поняла: пришли сюда не случайно. Разметанные там и тут белые лоскуты, зябкие ко-

лени в дорогих чулках на стылом камне, неумелые, истовые поклоны, серебристые локоны модного парика на грязном полу... О чем же они молились? О каком чуде?

Рядом со мной, стеснившись коленями на одном газетном лоскуте, отбивали поклоны мать и дочь. Мать — горбунья с острым болезненно-румянным лицом и булавочным блеском в глазах — не выглядела уродливой: ее красила густая русо-седая коса. Но дочь, скрюченная, как сухой гороховый стручок, безликая — потому что нельзя было назвать лицом скомканную багровую маску с разбежавшимися глазами — потрясла меня так, что я уже больше не видела окружающих, не слышала того, что читает священник.

Высоким и очень красивым распевом словно бы окрепшего хора закончилась часть службы. Церковь вздохнула, зашелестела — люди поднимались с колен. Мать и дочь следом за другими встали, взяли по свечке, пошли куда-то вперед. Снова увидела я их обеих уже на твоем концерте. Так же, как и многих других из тех, кто был в церкви.

Между тем они не могли не знать, что от религии ты далек, как никто другой. А вот пошли же на твой концерт. Видимо, что-то было и в церковном благочестии, и в твоем слове такое, что дарило несчастным духовное утоление. Я же думала о другом.

На моей родине до сих пор живет древний и прекрасный обычай: в день твоих именин тем, кто носит твое редкое имя, дарят распустившиеся ветви черемухи. Говорят: это приносит радость и удачу на целый год.

Я попросила знакомого артиста из твоего театра передать тебе мой языческий дар. Он удивился, согласился... и не исполнил обещания.

Когда я вышла из церкви и подошла к концертному залу, людская река успела обмелеть. Разошлись и те, кто напрасно ждал лишнего билета. Но необычное для меня не кончилось. Мать и дочь оказались в зале возле меня. Наверное, поэтому до меня не сразу дошла перемена в тебе самом. Человека, который нарочно энергичной походкой вышел на сцену, я не знала. Ты не только далеко ушел от того давнего портрета, что висел на стене Улинного клуба. Того, где ты неосознанно напомнил мне Стаса. За один год ты ушел и от седого мальчишки, что провожал меня однажды по театральному двору.

Я не сразу поняла, что на сцене не ты сам, а одна из твоих последних ролей в кино, ставшая тобою. Та самая, что позволила тебе одним махом миновать сразу несколько пролетов лестницы славы. Но не сделала эту славу неоспоримой. Ведь лестницы, ведущие вверх, часто на самом деле ведут вниз.

Мне не хотелось смотреть на то, что делает на сцене твоя роль. Она, как чертик, дразнилась красным языком галстука, который все время выбивался на сторону, не очень удачно повторяя заученные жесты и слова. Я ведь знала — это не ты. Тебя, подлинного, видела в театре. Что бы мне ни говорили, я знаю: в тот момент мучилась и металась в тоске собственная твоя душа, а не душа твоего героя.

То, что видели мои глаза теперь, не относилось ни к тебе, ни к искусству. И я скорее чувствовала, чем замечала, как весь зал охватывает неуловимое, неосознанное разочарование. Бедные женщины... Я все пыталась себе представить и не могла, каким ты будешь вне сцены? Больше всего я боялась, что и тут меня встретит все та же, ставшая мне неприятной за год, твоя роль. Вероятно, поэтому я при встрече не решалась глянуть тебе в глаза, а посмотрела на руки.

Тонкие ловкие пальцы взяли из моих рук божка до боли знакомым жестом! Помню, как-то Анна Павловна сказала: «У Стасика удивительно любознательные пальцы». Твои оказались такими же.

Ты знакомился с новым для тебя предметом не глазами, а руками, чуткими, как у слепого. Пальцы пробежали по каждому выступу, каждой бороздке. Я следила за ними и не знала, что сказать? Взглянула на твое лицо, чтобы избавиться от наваждения, и стало еще больнее. Потому что на сером от усталости лице вдруг ожили весенние глаза Стаса...

Мчались со скоростью секунд считанные минуты нашего свидания, и опять два человека оказались на двух лишь случайно сошедшихся льдинах. Только половодье было осенним. Не кричала над нами грачиная рать, не светило весеннее солнце. Путь осенних льдин короток — ни одной из них не видать далекого моря. Но как неизмеримо ценнее от этого короткая минута встречи! Ничего этого сказать я не могла. Я говорила только об Уле. Ты слушал меня внимательно и тревожно — судьба ее тронула тебя.

Но ты начал уходить от меня раньше, чем мы вышли из комнаты. Дважды переспросил, как называется место, где жила Уля, и я по глазам видела — тут же забыл снова. Что-то изменилось, отяжелело в твоем лице, глаза погасли и исчезли под набрякшими веками. Передо мной снова стоял не человек, а только одна из его ролей. Хотелось кричать от безнадежности и от страха за тебя, за твой завтрашний день.

Ты поклонился мне вежливо: «Спасибо вам». Прикоснение сухой сильной ладони было живым, дружеским, и я унесла его с собой как ту давнюю ласку Стаса.

А женщины на улице расходились нехотя, даже когда ты уехал. Улицы и переулки всасывали их по капле, словно самому городу было тяжко от их боли и неприкаянности. И никто в целом мире не мог им помочь, потому что в тот вечер не помог и ты.

Прохладным утром я покидала деревню Иерусалим. Первый самолет уходил рано, но я встала на рассвете. Темные травы, седые от щедрости росы березы, плотный низкий туман... Это еще не осень, а лишь предчувствие осени, но сердцу все равно было грустно.

Я поднялась на зеленый холм староверского кладбища. Его вершина плыла, как ладья, по волнам тумана. Словно бы продолжая туманное море, сизо-голубыми нарастающими волнами уходили к горизонту леса. Там впереди предгорья Урала. А здесь все тот же тихий мир забытых людьми могил. Хлопушка на могиле разбойницы Марфы успела отцвести, зато неведомо откуда поднялась рядом стройная свеча кипрея. Словно бы весь холм сменил наряд: из голубого и белого он стал розовым и желтым. Зацвели полевая рябинка-пижма и розовый кипрей.

Никто меня не провожал. Висарика я будить не стала — пусть спит, утренний сон сладок. Я присела на ступеньку древнего замшелого скита и смотрела, смотрела... Хотелось запомнить это место. Одно из многих, увиденных и потерянных потом навсегда.

Сколько уже всего позади! Несчастная военная юность, потеря Стаса, годы жизни на Колыме... Возвращение к прошлому и наша с тобой полу встреча.

Я привезла тебе посмертный Улин дар. Он должен был принести тебе удачу. Принес ли? Боюсь, что нет... У богов оленных людей нелегкий нрав. Улин амулет мог рассердить-

ся на тебя просто за то, что ты ни разу не вспомнил обо мне, сберегшей и передавшей его тебе. Но я не в силах объяснить божку напрасность его обиды.

Он пришел из мира простых отношений, где не бывает полувстреч. Там каждая встреча с человеком памятна. А мы живем в мире несовместимых судеб.

В жизни, не отягощенной славой, мы могли бы стать друзьями. В реальности же встретиться еще хоть раз нам будет трудно...

Утро медленно спускалось с холма в долину. Вынырнули из тумана разлатые черные ели и самолеты на том берегу речки. Только среди домов деревни еще прятался сумрак. И вот в нем возникло странное движение. Нечто большое, но не имеющее формы, выкатилось на улицу из-за старой бани возле околицы, прокатилось темным клубком и скрылось неведомо куда. Совершенно беззвучно. Прихотливая игра тумана и теней мешала видеть, и я не знаю до сих пор, что это было? Запоздалый призрак ночи или живое существо? Но помню сильное, как всплеск души, ощущение внезапной свободы и радости: это умчалось зло.

Хрипло затрубил спросонья пастушеский рожок, и овцы первыми заторопились на его зов. Но никак не могли собраться в стаде, пока не догнали их степенные, розовые коровы-костромички. Последние тени исчезли под обрывом. В деревню пришло утро. Придвинулась даль, и леса позеленели. Нет, далеко отсюда до седого Урала, до вольных гор! Стоят вокруг деревни Иерусалим давно прирученные человеком ельники и березняки. Толпятся вдоль их опушек грибы, бродят в глубине сторожки лоси, и давно покинула эти края лесная нежить... Живут в деревне обычные люди, со своими горестями и радостями. А я заглянула в их жизнь, как в окно, совсем ненадолго, и опять зовут меня неведомые дороги.

...Вот так однажды пришла и к тебе. Где мы встретимся с тобой вновь, когда?



ПЕРСИКОВАЯ КОРОБКА





Вторая в моей жизни весна выдалась ранней и теплой. В середине мая, ко дню рождения, зацвела корявая яблоня возле новых сараюшек за домом. Последняя из некогда просторного и беспечно раскидистого сада.

Дед поднял меня на руках, и я оказалась в бело-розовом солнечно-прозрачном мире яблоневых лепестков, а все мое существование впервые наполнилось ароматом, прекраснее которого нет на свете. Аромат яблони слышен не всем. Он хрупок: сегодня цветущие яблони в городе безуханны, их запах убил бензин.

В те же далекие времена по нашей сонно-пыльной улице только дважды в день проходило стадо, да изредка дребезжала телега из-за реки. Яблоневым цветом и духом полнился двор бывшего купеческого дома, отданного на разорение фабричной босоте. Ничего этого я еще не понимала.

Начало моей сознательной жизни — цветущая яблоня.

Но обреченная: хозяйственный мужик Тягунов уже подрубил дереву корни, чтобы за счет освободившегося места продлить свой сарай.

И сильные добрые руки деда — серебристо-серого, с огневым взором до старости прекрасных карих глаз. Жить ему оставалось четыре года.

...Следующее яркое воспоминание — «Карахан».

Опять весна. Ходок я отменный: обязана этим деду. Целыми днями бродим мы с ним по городу под медный звон гомеровского гекзаметра. Дед читает по-гречески «Одиссею», тут же переводя. Мерные океанические накаты строф завораживают меня. Читает он и любимого им Жуковского, Надсона, Апухтина.

Непростой выбор. Но мне наши прогулки — праздник.

Между тем давно обещан дальний поход «к Устьянцевым».

Когда? «А вот им масло из деревни привезут, мы за ним пойдем».

Масло — аргумент серьезный, это даже я понимаю. Живем мы впроголодь.

И вот благая весть — мы идем.

Запомнилась взъерошенная, осиротелая площадка на месте недавно взорванного кремля и под нею — бушующая ледоходом Волга. Грохот, треск рвущихся на простор льдин, мерцающее снежное марево из ледяных осколков, свирепый набег волн на затопленный берег. И еще: далеко на середине реки вдруг пронесло на льдине что-то темное, живое, мечущееся...

Дальнозоркий дед сказал: «Ишь ты! А ведь это волчище в беду попал!»

Мы спустились вниз на набережную. Я побаивалась реки, но вблизи она уже не пугала. Отсюда я видела только мусорный наплеск волн да неподвижные, севшие на мель, льдины, по которым сновали чайки.

Дом, куда мы пришли, стоял и тем более прочно: каменный, мелкооконный, настоящая крепость.

В квартире знакомо для меня теснилась мебель, согнанная в одну комнату из многих. Тяжелая, темная, привыкшая к простору, она теперь выживала людей, бочком скользивших мимо острых углов.

И люди на фоне моей, очень яркой внешне, семьи показались мне какими-то блеклыми. Как засушенные между страниц цветы.

Ясно, что взрослым надо было о чем-то серьезном переговорить.

Как и у нас дома, заговорили по-французски взволнованно-напряженными голосами. Врезалась в память русская фраза деда:

— Но и Пятаков полетел!

Фамилия показалась смешной, и я спросила: «Кто это?»

Про меня вспомнили. Кто-то сказал:

— Дайте ей «Карахана», пусть поиграет.

И в руках у меня оказался большой черно-зеленый камень в тонком золотом ободке оправы. Овальный, он как раз заполнил мою ладошку.

Для точного определения его цвета слов не найти. По камню все время бродили тени. Если один его край расцветал вдруг счастливым весенним лугом, в другом — клубилась грязовая тьма, которую непредсказуемо прорезали острые белые лучи света. Еще поворот — камень заливало неземной синью, словно бы легшей поверх глубинной зелени. Световой игре не виделось конца, и оторваться от камня не было сил.

Первое настоящее горе моей жизни: мы пошли домой и «Карахана» у меня отобрали. С ревом!

Лучше бы и не показывали...

«Карахан» — огромный изумруд — сопровождал семью Устьянцевых со времен Золотой Орды. Какой ценой и каким путем попал к ним, потомки уже не знали. Известно было только, что на камне заклятье: через поколение кто-то из мужчин в семье Устьянцевых непременно кончал самоубийством. И виновником тому — «Карахан». Тем не менее, камень сберегали, несмотря ни на что. Семья мелела, беднела, но и мысли не возникало: расстаться с «Караханом».

Вот и встает невольный вопрос: почему?

Да потому, что именно в дворянстве, как ни в каком другом сословии, жило стремление быть или хотя бы выглядеть не такими, как все. Грозный «Карахан» выделял обедневшую, давно уже не блестящую талантами, семью Устьянцевых из общей унылой массы разорившегося дворянства.

...Наша семья тоже не хотела раствориться в сумерках обыденности.

Ее гордостью и гибелью стали образование и таланты.

Образование приобреталось. С талантом рождались. И как злой дар Орды «Карахан» требовал от своих владельцев жизней, так и непомерное честолюбие моих близких зачеркивало то, что давалось на самом деле. В том числе и мне. Хотели от меня невозможного, закладывая в душу и судьбу отраву несбывшегося.

Мне дали очень много, но, к сожалению, не выучили це-

нить то, чем я обладаю.

Черное око «Карахана» не зря глянуло на меня в детстве.

Кстати, семью Устьянцевых по его же милости в тридцать седьмом свели под корень, а сам изумруд на годы канул во мрак Гохрана.

* * *

Ну, а кто же они все-таки были, мои предки, ушедшие ныне?

Передо мной высокий ларчик, сплетенный из шелковистой соломки. От времени соломка приобрела цвет старого золота и стала скользяще гладкой.

Сооружение это зовется «персиковая коробка», и ему сегодня более ста лет. В коробке то немногое, что среди всех жизненных бурь уцелело от прошлого семья.

Помимо прочего, фотография немолодой, но вальяжной и по-своему все еще красивой дамы с прекрасной белокурой косой. В косе — ни сединки, а даме 83 года.

Это мать моего деда, актриса Александринского театра, по сцене Елена Кислинская.

Судьба же ее непроста.

Где-то в середине прошлого века некий легкомысленный, как и полагается, французский барон влюбился в марсельскую прачку. Вряд ли француженку и южанку: она была белокура и сероглаза. Миниатюра из слоновой кости, хранящаяся сейчас у дальних родственников в Санкт-Петербурге, донесла лицо неправильное, но удивительно женственное и, что по-моему очень важно, полное горделивого достоинства. Высокий лоб, глубокие серые глаза — все очень строго, но смягчают чопорность умилительно вздернутый носик и нежная улыбка красивых губ. Совсем не прачкино лицо. Но уже не сыскать концов: кем же она была на самом деле, эта белокурая прелестница?

Так или иначе, барону она родила дочь, что, надо полагать, в бароновы планы никак не входило. Однако сей ловелас оказался человеком достаточно честным и к тому же предприимчивым. Каким-то образом договорился в Париже с некоей русской дамой, которая взялась (с присовокуплением баронских денег) устроить девочку в Петербургский пансион под именем дворянской сироты Прасковьи Панкратьевны Чеглоковой.

Девочка отправилась в путь, увозя с собой миниатюру на слоновой кости, которая вполне могла попозже сойти за

собственный ее портрет, и ту самую коробку из испанской соломки, в которой тогда на самом деле лежали персики. Память о навсегда покидаемой ласковой и лакомой южной родине...

Новоаявленная раба Божия Прасковья в пансионе обжилась и прижилась. Стала даже примерной ученицей, так как была остра умом и обладала золотыми руками.

Росла, хорошела и в шестнадцать лет, Бог весть как, попала на глаза сорок пятилетнему контр-адмиралу в отставке. Человеку с внешностью и нравом провинциального Мефистофеля.

Его происхождение тоже заслуживает внимания.

В восемнадцатом веке, в свите короля Станислава Понятовского прибыл ко двору Екатерины II некий шляхтич польско-чешского происхождения с наводящей на жутковатые размышления внешностью.

Дагерротип с его портрета хранился в нашей семье долго, я хорошо помню желтое лицо, хищный нос и глубокие черные провалы глазниц. Шляхтич этот, по-видимому, был тем, что сегодня называется «экстрасенс». Снимал головную боль наложением рук, да и посеребренное делами занимался.

Чем точно он угодил переменчивой императрице — неизвестно. Но не исключаю, что именно благодаря своей пугающей внешности просто «попал в случай». Так или иначе, был он жалован землицей и людышками, откуда и пошел на российской земле дворянский род с нерусской трудной фамилией Гуссаковские.

Контр-адмирал был его прямым потомком и, кажется, достойным продолжателем духовного естества своего предка, Николая Францевича.

Юная француженка так ушибла стареющее сердце морехода, что, несмотря на слабое сопротивление ее воспитательей, он повел-таки семнадцатилетнюю Прасковью под венец.

Как они жили — сегодня не скажет никто. Одного за другим родила Прасковья троих сыновей. А беременная четвертым (моим дедом) — сбежала от мужа... на сцену! И диво: оказалась по-настоящему талантливой актрисой!

Она танцевала и прекрасно пела, но оперетты избегла — осталась в драме.

Сильная, видимо, зародилась женщина и умная. Сумела отбиться от домогательств мужа, не бросила новорожденного сына и укрепилась на сцене. Карабкалась годами вверх по лестнице, пока не достигла надежной государственной пристани Александрийки.

Театральная судьба свела ее с А.Н.Островским. Семей-

ное предание гласит, что образ Кручининой — это она, Елена Кислинская.

А на шкафу у меня стоит старинная фарфоровая чашка, уж точно подаренная ей Островским за исполнение роли Ларисы в «Беспряданнице».

В чашке когда-то были драже в золотой обертке. Сейчас она, увы, пуста...

Деду, Владимиру Леонидовичу, досталось жгучее лицо отца, однако смягченное лирическим обаянием матери и потому красивое.

Музыкальность, артистизм, большой певческий голос звали его на сцену. Он и пошел бы туда, да не дал Бог роста, а в те времена это значило гораздо больше, чем теперь.

Впрочем, Бог наделил его и редкой памятью, а она открыла перед ним двери университета. Филологический факультет он закончил блестяще. Намечалась преподавательская стезя. Но и тут не вышел путь: досталась ему от отца еще и неудержимая вспыльчивость.

Дожило до меня предание. Дед ушел из гимназии после скандала с переводом баллады «Граф Галсбургский». Жуковский ее начало перевел: «Торжественным Ахен весельем шумел...» Ученичок же нерадивый выдал деду: «Тут же присутствовал Ахен, который очень веселился...»

Дед сгоряча дал ему затрещину, решив, что это издевка, хотя налицо была просто дурость. Так или иначе, гимназию он покинул и стал чиновником по переселенческим вопросам.

Здесь взлет его карьеры стремителен и прям. Из глубин Иркутской губернии, где в селе Манзурка Верхоянского уезда в 1902 году родилась моя мать, он уже в 1903-м оказывается в Костроме, где вскоре занимает высокую должность начальника воинского присутствия. Цепь чинов и наград не прерывна. К революции дед — действительный статский советник. А мать его, отыграв все театральные роли, но не забывая житейских, благоденствует в собственном домике на окраине Царского Села. Норовистая, умелая (не дом — игрушка), цветущего здоровья, не скажешь даже, что старуха, в 80 лет, изводит нелюбимую невестку злехидными письмами.

Со слов матери я знаю, что обе женщины невзлюбили друг друга с первого взгляда.

Актриса, при виде невесты сына, всплеснула руками.

— Боже! Старая дева да еще и блондинка!

Насчет первого она была права, а чем уж блондинка хуже брюнетки — ей лучше знать.

Чопорную и болезненно-чуткую к дурным манерам Марию Александровну шокировали само поведение и вид будущей свекрови. Ведь она румянилась, красила губы и предстала в юношески легкомысленном пеньюаре с бантиками.

Так или иначе, вражда на всю жизнь оказалась заложенной с первого взгляда.

* * *

Теперь надо рассказать и о жене деда, моей бабушке. О «русских» немцах классики наши понаписали столько, что тут и добавить вроде нечего. Не любили их у нас никогда... Немцы платили тем же, но кормной России не покидали.

Семья моей бабушки Грунау-Головань столетиями претендовала на баронский титул, который как-то все не давался. Столетиями поставляла в мир искусства музыкантов и художников, которых тоже слава манила вначале, а потом бросала безжалостно и бесповоротно в объятия друга своего — алкоголизма.

Один из моих предков по этой линии был даже многообещающим членом знаменитой «Могучей кучки». Показывал Балакиреву великолепно начатые фортепianne сонаты, еще лучше говорил о задуманном, но ничего так и не довел до конца: спился.

Совсем недавний предок, брат моей бабушки, Сергей, учился в Академии художеств. Очень жалею, что не сохранила умирающая его акварель с тремя соснами. Она висела над моей детской кроваткой...

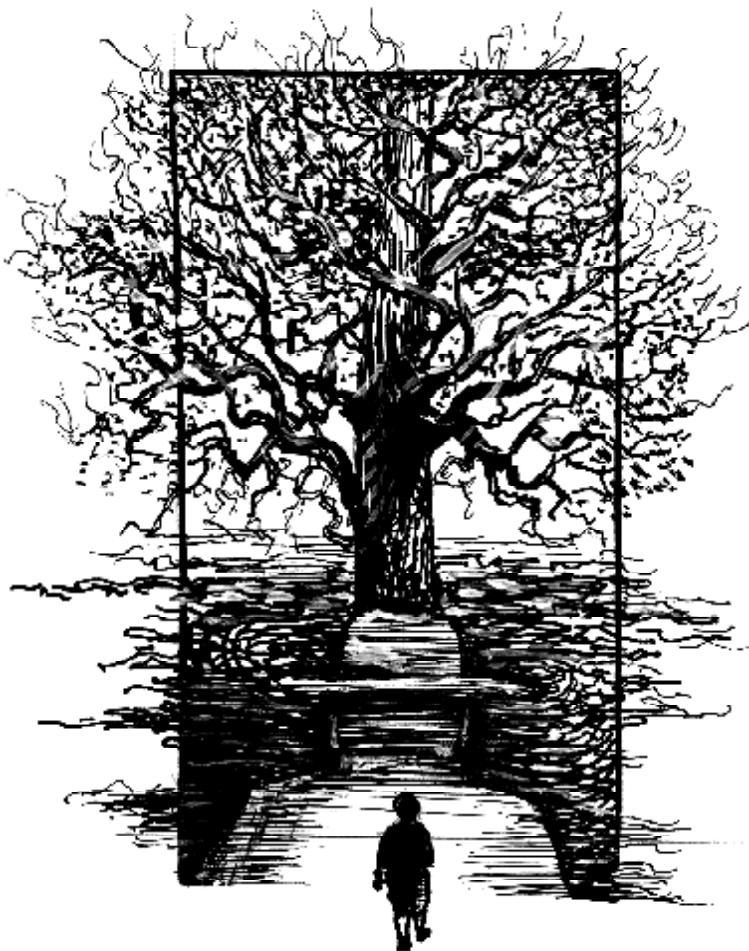
Судьба его таинственна. Что-то раскрывал в ней, а лучше сказать — еще больше запутывал, оставшийся после Сергея дневник.

Неподалеку от их дома в Царском Селе издавна пребывали романтические развалины, именуемые почему-то «Домом масона».

Художник Сергей, вероятно, из-за природной немецкой тяги к мрачному готическому романтизму, любил их рисовать.

В дневнике его последовательно идут записи о серии странных повторяющихся снов, которые начали его преследовать.

Однажды он увидел во сне, что каким-то образом оказался в огромном подземелье, якобы скрытом под «Домом масона». Посреди сводчатого зала возвышался черномраморный постамент, а на нем, закрытое пурпурным парчовым покровом с серебряными изображениями мастерка и треугольника, лежало Нечто. Оно-то и манило неудержимо, но и отталкивало страхом.



Днем Сергей безуспешно искал вход в таинственное вместилище неведомого. Ночью вновь оказался в том же сводчатом покое, но уже на несколько шагов ближе к тому, что лежало на постаменте.

И так, ночь за ночью, он продвигался к цели, пока не остановился на расстоянии шага от того, что его влекло. Он записал в дневнике: «Завтра, если все продолжится, я смогу протянуть руку и, наконец-то, узнаю все...»

Больше записей в дневнике нет, а Сергей исчез бесследно. Тайна его исчезновения никогда не открылась.

Что касается бабушки, Марии Александровны, мир искусства ее не привлекал. Правда, она бегло играла на рояле, но лучше бы вообще не учились музыке, ввиду полного отсутствия слуха. Дед называл ее игру «полковой побудкой», а если злился — «шествием на эшафот». Но при всем том, и она была человеком недюжинным.

С молодой ее фотографии смотрит лицо некрасивое, во-левое, незамаскированно умное, без тени женского кокетства. Лицо — научного работника из дня сегодняшнего.

О том она и мечтала, имея прекрасные математические способности. Гимназисткой даже, наподобие Софьи Ковалевской, попыталась сбежать из дома. Да не по ней оказалась судьба: быстро вернули под отчий кров. Ждать женихов.

Младшая сестра, хорошенка и не обремененная неженским умом, рано и удачно вышла замуж. А она все ждала и ждала неведомо кого до двадцати семи лет. Сохла, дурнела и все чаще впадала в тяжкие неостановимые истерики.

Что привлекло красивого, артистичного, победительного деда в вянувшей старой деве? Могу лишь догадываться: именно ее ум и глубокая образованность. Устал от дур, ибо сам был умен.

Их свадебная фотография уцелела.

Он — яркий брюнет, лишь крошечной гранью отделенный от пошлости рекламной обложечной красоты. Она — бледная, хрупкая бабочка-поденка с привычно печальными глазами и горькой складочкой возле рта.

Лицо ее оживет, но не скоро: когда она станет матерью. Но тогда же на него, уже навсегда, лягет маскаластной требовательности. Никогда и никому эта женщина не давала поблажек.

Но... если призадуматься, каково-то пришлось ей, петербурженке, в глухом сибирском селе? Да еще ни где-нибудь, а почти на полюсе холода, в Верхоянском уезде!

До сих пор жива и исправно служит швейная машинка «Зингер», которую Мария Александровна увезла с собою в Сибирь. А я рублю овощи нестачивающейся тяпкой, а капусту шинкую шинковкой с жутко острыми и через почти сто лет золлингеновскими ножами. Все эти вещи и кое-какие другие мелочи помнят начало семьи.

В селе Манзурка единственным интеллигентным человеком был местный священник, отец Палладий. Но мои предки, следуя тогдашней моде, не были людьми религиозными и духовенство слегка презирали. Однако общались все же. Бабушке пришлось срочно учиться стряпать у попадьи, потому что деревенские девки ничего не умели.

Бабушка часто вспоминала, как угостила попервоначалу батюшку с матушкой мускусном под маринадом, подав рыбу сырой. Она просто не знала, что ее надо обжарить предварительно!

Бывают в жизни чудеса: незадолго до маминой смерти, году в 85-м, примерно, по какому-то поводу именно Манзурка угодила на телевизионный экран! Мама, конечно, ничего вспомнить не могла: ей год едва исполнился, когда семья покинула студеное место ее рождения.

Я смотрела на несокрушимые, высоко поднятые над землей, лиственничные избы со странной дрожью узнавания. Кто знает, может быть, в эту минуту я видена их глазами деда?

Вокруг изб зеленела неправдоподобно яркая и нежная, только на вечной мерзлоте живущая, трава. А мне почему-то виделись змеистые тропинки среди глухих сугробов, и ясно чувствовался ожог лютого зимнего ветра. Осталась ли и сегодня жизнь села такой же разобщенной и скучной на радость? Ответа я не знаю. Но полагаю: именно всеобщая скучность жизни выковала нрав моей бабушки.

Все, за что бралась Мария Александровна, она доводила до блеска: в старости бабушка стряпала великолепно. Тайну своих удивительных соусов, особенно томатного, она никому не передала: мать соусов не любила.

Я — повторить не могу.

* * *

Семья наша появилась в Костроме в 1903-м году со старшим сыном Александром, ровесником века, и годовалой dochерью Валентиной — моей будущей мамой. Позднее, в 1906-м году, родился самый младший — Всеволод.

В поступках моих близких всегда много нелогичного, странного.

Тихая, глухо провинциальная, Кострома в те времена предлагала сколько угодно дешевого жилья хоть в самом центре города. Но мои родичи почему-то сняли большой, запущенный и холодный, дом на берегу Волги. Вокруг него простирался чертополоховый пустырь, полный щеглинного пересвиста, а зимой с глухой луговой Стрелки раза два забегали даже волки...

Город жил по-старосветски: протяжно и неспешно. Летом пылили по его, чаще немощенным, улицам возы с огурцами. По осени — с чудесной «гаревой» репой и капустой.

Ходил по домам со своим тайным припасом хитрый ста-

ричок — знаменитый сольщик мяса. Приговаривал: «Солонинка бадьян любит!» Что уж он туда клал кроме этой пряности — его потерянный ныне секрет, но солонина у него получалась «царская».

Летами местные помещики — родов знатных, но, в большинстве, давно разорившихся — уезжали в последние уцелевшие имения, а вечно находившееся в оппозиции ко всему на свете чиновничество разбредалось по ближним, почти дармовым, дачам.

Очумевшие от безделья девчонки из прислуги бегали на берег Волги, где стояли огромные чаны с соленой рыбой. Самые большие — с копеечной хамсой, весьма любимой простым людом.

Девчонки вились возле лихо орудовавших «сетками» молодцов:

— Дай хамсы попробовать! Посолиться хочца!

Сmekалистый молодец кивал на полуопорожненный чан:

— Бери сколь горстью захватишь!

Девчонка перегибалась через край, норовя побольше цапнуть дармового лакомства, а молодцу того и надо: вздернет юбку да по ляжкам — шлеп!

Визг и всеобщее удовольствие.

Зимой бомонд роился возле Дворянского собрания и лютко играл в карты.

Все и всё про всех знали. Например: оборотистая и крутая мадам Трухина учитывает в каждой копейке управляющего своей молоковарни, а при случае не чурается и рукоприкладства; «тонная» и величавая мадам Первицкая — в прошлом удачливая горняшка из «номеров», женившая на себе барина; две первые красавицы Григоровской гимназии, сестры Чемодановы, — дурищи невероятные, в маменьку вышли, отец же их с горя от всеобщей домашней дурости сошелся с кухаркой, и она, что ни год, рожает веселых, умных рыжих чертенят, которых окрестный люд зовет «чемоданчиками»; норовистую михинскую наследницу даже с миллионами замуж выдать не удается, а нувориши Третьяковы, дабы город удивить, выстроили напротив монастыря два дома с легкомысленными и сомнительными петушиными гребнями на крышах.

То, что третьяковскими усилиями собирались в Москве народная картинная галерея, особенно не учитывалось, хотя и зналось. Знали ведь и о «чижовских» училищах, и о «григоровской» гимназии, но за карточными столами говорили не о том.

В Дворянском собрании бабушка — «корсетница» — сра-

зу и навсегда стала предметом неутихающей злобной зависимости местных расплившихся дам. Ее осинная талия и «французские» платья (которые она сама шила по журналу «Моденвельт», о чем не знал никто) лишили сонную Кострому покоя. Бередило умы и еще кое-что: никому и никогда ее не удавалось обыграть в карты. Партнеры злились, увеличивали ставки, бабушка спокойно их принимала и, ничтоже сумняшися, клала выигрыш в бисерное портмоне. Зачем ей было объяснять, что любые комбинации она мгновенно прощивает на десятки ходов вперед... Только эти карточные деньги она и тратила на хорошие кружева, которые очень любила. Жила она скромно.

Небольшое ее приданое ушло на покупку не именья, скорее просто дачи в Судиславском уезде рядом с селом Шахово.

Дедово жалованье целиком тратилось на семью, содержание нелепого дома и еще — на охотничий ружьё.

Дед в карты не играл вообще. И за всю жизнь не выпил рюмки вина. Его страстью были: театр, музыка, книги и охота. Последняя страсть — самая разорительная, потому что любимые его бельгийские штуцеры стоили недешево, прокур же от его охоты не наблюдалось никакого. Прекрасный стрелок в цель, он на охоте из-за природной горячности безбожно пуделял.

Передо мною еще одна фотография из «персиковой коробки».

Два хилых, недорослых мальчика. Между ними статная цветущая девочка-подросток. Словно птенец из другого гнезда. Капризной изысканной красоте лица бабки-француженки кровь отца добавила южный грим. Моя будущая мать смугла, зеленоглаза, белозуба и темноволоса.

Ко всему ей дан еще и голос редкой красоты и силы. Повезет и с учительницей пения: она будет брать уроки у некоей Куприяновой, которая сама в молодости училась у сестры Глинки. Знаменитое бельканто «Уснули голубые...», где одна нота перетекает в другую, словно бы и не требуя остановки для вздоха... Это — глинкинская школа. Если бы к ее меццопрано еще и абсолютный слух деда! Но слуха природа матери дала мало. Пела она дивно, но лишь то, что выучивала по нотам.

А вообще внешностью, здоровьем, жизнелюбием она удивительно отличалась от братьев.

На фотографии старший брат, Александр, неопределенного рус, почти белокур, как мать. Нижняя часть лица скомканна, но просторный лоб и глубокие серые глаза хороши без сомнения. Росту же ему недостает явно.

Учился он прекрасно, много читал и, вероятно, как чеховские мальчики, готов был от провинциальной нудьги сбежать в пампасы. Но сбежал в революцию. Сошелся с молодежным революционным кружком и кончил тем, что в девятнадцатом году, того же возраста юношей, погиб, защищая Петроград от Юденича.

Для какой иной жизненной цели он был рожден — осталось неизвестным. Хранится у меня пожелтевший блокнот, исписанный почерком изящным и колючим. В нем — стихи. Подражательные, но точные ритмически. Парафраз забытого ныне «Емшана» Майкова. Это все, что осталось. Безгласно мало...

Назначение судеб двух других детей обозначилось с младенчества, что бывает только при избранности.

Мама родилась, чтобы стать великим цветоводом. Ее брат, Всеволод, — энтомологом.

Однако революционные превратности судьбы дали образование и путь в науку только мальчику: за него долго и упорно боролся знаменитый энтомолог Рубинский, чьи коллекции до сих пор хранятся и прельщают взоры посетителей в Ипатьевском монастыре.

Дядя Вова уехал в Ленинград.

А за плечами его сестры на всю жизнь осталась только гимназия да еще краткосрочные учительские курсы. Геройская гибель революционера Александра, безусловно, спасла жизнь его отцу, но не дала возможности сестре-дворянке получить образование.

Без него же чудный ее дар цветовода ушел, как вода в песок: она осталась любительницей. Необыкновенно знающей — но и только.

Между тем, случись ей стать научным работником, мир, возможно, на много десятилетий раньше познакомился бы с «дарвиновскими» гибридами огненных тюльпанов. Мысль о возможной гибридизации наших среднеазиатских дикоростов пришла маме в голову еще в двадцать седьмом году после поездки в Ташкент. Голландец Лефебр в те годы еще и не помышлял о том.

Но у мамы не оказалось ни времени, ни достаточного для работы количества луковиц.

Если бы только один этот случай, но их за длинную ее жизнь скопилась печальная вереница.

...Так хочется заглянуть в ушедшую жизнь моих близких. Хоть совсем ненадолго. Хоть мельком.

По счастью, Александр рано увлекся фотографированием, и кое-какие из детских домашних его снимков уцелели.

К тому времени семья перебралась в удобный дом на Богоявленской улице. Можно сказать, в центре города.

Опять вопрос без ответа: почему не купили своего дома? Это же было так доступно при дедовом высоком ранге! Место ему досталось самое что ни на есть «кормное»: ведь именно от воли начальника воинского присутствия зависело, пойдет ли иной купеческий оболтус под «красную шапку» или дома останется баклущи бить...

Все окружение деда обзавелось домами и землицей. Его самого, похоже, преследовало отвращение к собственности, выросшее из отвращения к взятке.

Ушлое купечество знало: за предложение «ам поше» Владимир Леонидович может с лестницы спустить: силой Бог не обидел. Но оставался его секретарь...

В общем, все дореволюционные годы семья наша прожила то в одном, то в другом наемном доме.

На снимке большая, светлая и чем-то радующая комната. Возле окна осыпанное цветами деревце белого гибискуса, прозванного в народе «березкой». Штофные обои. Почти легкомысленный диванчик на гнутых ножках. На нем плашмя, задрав ноги, лежит мальчик с мелкокурчавой, как у арапончика, головой. Перед ним — книга.

Но не повести Густава Эмара или Купера, а «Определитель бабочек». Это Всеволод. Индейцы его никогда не интересовали, Всеволода с детства властно звал мир насекомых.

На другой фотографии круглый стол, и за ним изящная, с утра в корсете, бабушка кормит детей завтраком. Надо полагать, фотографировал дед... На лице бабушки выражение непреклонной уверенности в правоте своих действий. Мальчики как-то сиротливо сжались — головы едва видны над спинками стульев. Девочка откровенно надула губы и готова заплакать.

Все это потому, что бабушка собралась поить детей обязательным топленым молоком. А они его терпеть не могут.

Равно как и раблезиански обильный завтрак: ньеки (род крупяных котлет) и куриный галантри (заливное).

Умный домашний врач напрасно советовал бабушке сменить диету. Ее вообще никому и никогда не удавалось переубедить. Она верила, что кормить детей нужно жирно и много. Дети страдали запорами, мальчики плохо росли. Ее это не останавливало.

Одна из человеческих радостей — еда — в нашей семье стала мукой. Впрочем, в те времена во всех состоятельных семьях города ели очень много мяса и совсем мало овощей.

Картошка еще не завоевала костромских сердец. В оби-

ходе была капуста, но ее не умели (за редким исключением) хранить зимой свежей. Ели квашеную разных видов: с клюквой, яблоками, даже виноградом. Много солили огурцов. Весь морковь, а вот свеклы употребляли мало. Парили репу. И совсем не знали помидоров и всяческих трав, кроме укропа.

Бабушка, по-петербургски любившая бульон с кореньями, не сразу нашла в городе огородника, у которого имелись все пряности, вплоть до любимейшего сельдерея.

Фигура прелюбопытная: осанистый старик с бородой надвое — князь Вяземский. Самый подлинный. Сначала отцовское наследство проигравший в карты, а потом все вернувший своими руками — от земли.

Забавное воспоминание матери. Бабушка сама заправляла бульон «петрушкой-сельдерюшкой». Кухарка Аннушка, отроду не видавшая ничего подобного, «донесла» деду: «Барин, а барин! Барыня-то в суп корешки сыплет...» В ее представлении корешки могли быть только злой травой.

На обед подавался суп, жаркое и какое-то рыбное блюдо. И на ужин — опять мясо!

Другие семьи «отпыхивались» постами. В нашей говели только одну неделю Рождественского поста и две — Великого. Передовая интеллигенция фраппировала этим духовенство.

В воспоминаниях матери эти легкие постные недели остались праздником.

Правда, чуть-чуть отравленными бабушкиной любовью к хитрому соусу «провансаль». Он требовал искусства, и бабушка им владела, чем и гордилась законно перед гостями. На маму же осетрина под соусом «провансаль» наводила грусть-тоску, но бабушку это не трогало: она признавала только свой собственный вкус, а потакание чужим — считала поблажкой.

Однажды я сама из любопытства заказала это блюдо в ресторане. Принесли кусок разварной осетрины, политый бледно-желтым соусом и украшенный лоснистыми маслинами. Увы! Многое передается по наследству: поскольку за моей спиной никто не стоял, я просто оставила изысканное кушанье почти нетронутым и от души посочувствовала огорчениям маминого детства.

Должна заметить, что колбасу и какие-либо консервы брали «от Голованова» только для гостей — и немного. Апельсины дети видели лишь на Рождество. Конфеты и торты — на именины.

Яблок ели много по осени и ранней зимой, когда возы с ними стояли вдоль всего раската Молочной горы.

Летом — сколько угодно ягод. Господи! Усы одичавшей клубники, когда-то посаженной руками деда в именье Паникарпово, до сих пор цепляются за стволы огромных черных лип...



* * *

Что заполняло дни дома со сплошными «бёмовскими» стеклами в окнах и множеством, в общем-то, ненужных комнат, уставленных светлой ореховой мебелью в стиле рококо ?

Бабушка немного стряпала (блюда тонкие), много шила и вышивала. Занималась со всеми детьми французским и немецким языками. Следила за музыкальными уроками дочери. И точила прислугу, которая менялась в нашем доме чуть ли не быстрее листов календаря.

Дед успешно служил, пел в любительской опере и пропадал на охоте. Вечерами, если бывал дома, читал вслух кого-то из классиков. Особенно одобрял Гоголя и Диккенса. Странное сочетание — под стать многому в этом человеке. Читал же по-актерски блестяще. В его исполнении обретал лицо и голос любой, даже вовсе случайный, персонаж.

Дети, помимо домашних уроков, ходили еще заниматься английским в частной учительнице, которую прозвали «Тичерша», но любили. Родом она была из Южной Африки и очень увлекательно рассказывала (по-английски, чтобы старались понять!) о той киплинговской стране. Как в озаренном огромной раскаленной луной вельде домашние псы братались с вольными гиенами, а охотники однажды нашли голого одичавшего белого человека, который жил в львином прайде и забыл человеческую речь... «Тичерша» познакомила детей и с творчеством вовсе не известного у нас Райдера Хаггарда. Маме особенно понравилась повесть «Суд фараонов». Годы спустя она же, переведенная мною с маминой помощью, потрясла и мое юное воображение.

Сегодня она издана. Боюсь перечитывать.

Всеволод учился и рисованию: нашли хорошие способности. От него кое-что перенимала сестра, тоже любившая рисовать, но не такая талантливая, как он...

Вот и призадумашься: какая сила погнала из столь благополучной жизни старшего сына, Александра, в революцию?

Стремление улучшить жизнь низов? А что они знали о той, не бонбоньерочной, а подлинной жизни?

Дом обслуживало четверо: кухарка, горничная, «месячный» извозчик и денщик деда.

Дело в том, что ко времени, о котором я пишу, дед прошел уже две войны: русско-китайскую и русско-японскую. Имел чин артиллерийского капитана и два Георгия за храбрость. Третьего он получит в первую империалистическую. В гражданской — уже не будет принимать участия.

Его денщик — лицо, стоящее подробного рассказа. Звали его Борис, а в сущности — Борух, потому что был он не-крещеным местечковым евреем. Когда-то дед вытащил из-под казарменных оплеух тощего, ополоумевшего от ежедневного страха, мальчика с печальным поклятым носом и глубоким взглядом умных карих глаз. Он почти не говорил по-русски, но хорошо понимал немецкий. Скорее всего, его забили бы в казарме насмерть... Дед его спас. Борис так и остался с ним на годы, поскольку собственная его семья где-то под Вильной погибла во время погрома.

Он был старателен, но от природы, как все мечтатели, рассеян. Тянулся к музыке. Самоучкой освоил рояль и, когда бабушки не бывало дома, прекрасно аккомпанировал деду. При людях — никогда. И дело тут не в одном бабушкином баронском тщеславии. Тут тоньше.

Спасти жизнь несчастному еврейскому юноше и держать его возле себя, несмотря на недовольство жены и кое-кого из сослуживцев, дед мог. Считать Бориса равным себе — никогда.

Более того, он мог преспокойно рассказывать при денщике анекдот о мальчике Боре, которого «выкрасили в зеленую краску и говорят, что так и было». Либо напевать: «Жил-был на свете Борух Пик, был он честный, набожный старик. Бегал в синагогу и молился богу, и трефного кушать не привык».

Это — тоже одно из лиц российской интеллигенции.

Подобная история приключилась у деда и с одним казахом, Самбаром Сурухановым. Дед выучил его грамоте и помог поступить в реальное училище. Но не считал ровней даже тогда, когда Самбар стал промышленником и разбогател.

Из другой прислуги дольше всех в доме зажились кухарка Аннушка и горчичная Вера.

Когда сейчас я пытаюсь представить себе жизнь этих несчастных женщин, я не могу понять, почему они не бежали топиться в Волге?

Кухарке платили пять рублей в месяц, горничной — всего три. На большие праздники дарили «на платье», да кое-какую мелочишку они получали: кухарка — от базара, горничная — от гостей. Но в нашем доме кухарка и того не имела, поскольку все продукты забирались в лавочке на книжку.

Между тем Аннушка явно была не лишена кулинарного дара: сохранилось много ее рецептов, простых и доступных даже в наши дни.

Другая ушла бы от сварливой, скаредной хозяйки... Но Аннушке некуда было податься: в другом доме не стали бы терпеть присутствие на кухне ее пригульного сынишки. В нашем — терпели. Что ж, терпела и она.

Горничная Вера — сирота, монастырская воспитанница — была девушкой грамотной, тихой, сентиментальной.

В свободные часы читала романы Дюма и, тайком от всех, училась у барышни французскому языку. Вечно что-то забывала или понимала неправильно, за что и получала «первую плеть». Но тоже не жаждала перемены, понимая, по-видимому, что лучше ей вряд ли где будет.

Именно она, опять же тайком, познакомила маму с завораживающим миром синематографа. Обе они влюбились не в истекающую глицериновыми слезами Веру Холодную, а в знойную, веселую и опасную, Коралли.

Но о том, чтобы посещать «Пале-театр» открыто, Валентина и мечтать не могла: свет раз и навсегда объявил хождение в синематограф дурным тоном.

Впрочем, дед, несмотря на свое, почти равновеликое губернаторскому, положение в обществе, получил от этого же губернатора замечание за то, что осмелился взять старшего сына-гимназиста в театр на гастроли знаменитого трагика Костромского. Гимназистам посещение театра воспрещалось.

Жизнь детей из «хороших домов» начисто лишалась развлечений. Им оставались труды и благонравие.

Не тут ли корень тяги к революции? Однообразное, насиливо сырое, существование гасило душу, лишало крыльев юношескую мечту о необыкновенном. Сострадание к бедствующим, если и приходило, то много позже, в вольные студенческие годы.

Лишь случайно, не принимая этого сердцем, мама запомнила рассказ Аннушки о том, что она сахар впервые попробовала в девять лет, когда ее отдали в люди.

Так же, как и воспоминания Веры о жизни в монастыре, где за малейшую провинность воспитанниц посыпали в подвал тереть хрен: монастырь прибыльно торговал любимым постным продуктом.

Несчастные девчонки слепли над терками от слез...

Лишь на ежегодной Федоровской ярмарке, куда семья ездила за «восточными сладостями», дети видели нищих и пьяных. Мама никак не могла понять, почему это здоровый мужик в армяке баражается в навозной луже?..

Нет, не народную беду избыть, а собственное искусственно счастливое бытие хотели изменить революционные мальчики в гимназических мундирах. Бог им судья.

* * *

Тошную, рыгающую спросонья, жизнь костромского бомонда встряхивали пожары (нередкие), волжские ледоходы, когда непременно гибли люди, и солененькие скандальчики.

Особенно долго судачили о семье Ржевских. Глава ее — богатый и влиятельный помещик — гордился сверх меры дочерью-красавицей. Отказывал всем искателям ее руки. А она взяла да и сбежала с заезжим актером. Отец принародно проклял дочь. Года через полтора молодая женщина вернулась с больным сыном на руках.

Ржевский и на порог ее не пустил. Сколько-нибудь приличного и достаточного для прожития заработка не находилось. Для женщин в те времена широко открывалась дверь только под красным фонарем. И тогда, к восторженному ужасу бомонда, красавица пошла в «монопольку» целовальницей. Город ахнул и повалил смотреть.

Однако ничего соблазнительного не обнаружилось. Женщина за кабацкой стойкой стояла словно бы закованная в латы. Брань к ней не липла — надо полагать, за время скитаний наслушалась всякого. А дать волю рукам она не разрешала никому. От денежных предложений отказывалась спокойно и с такой твердостью, что второй раз не возвращался никто. Растила сына-шизофреника. И, подвиг второй, через годы сумела сделать его полезным членом общества:

обучила мальяному делу. Сын кормил себя сам и даже женился. Ну, это, что называется, адамантовый характер, штучный. Чаще такие беглянки гибли.

Случилась в городе и другого рода история, которая, как ни странно, через годы коснулась меня самой.

На одну из Федоровских весенних ярмарок из дальней дали приехал купчина с диковинным для Костромы пушным товаром: голубыми тундровыми песцами, лисами-сиводушками и серебристыми белками. Товар шел ходко.

Бабушка купила у него морозный лисий палантин и невесомую беличью шубку для дочери.

В толпе покупательниц победнее высмотрел купец благонравную голубоглазую девушку в сквозном сиротском бурнусике. Разузнал, что зовут ее Минодора и она — старшая дочь в нищенствующей семье маленького чиновника-пьяницы.

Купец предложил не отцу, а матери девушки (как более надежному человеку) огромную сумму, пятьдесят тысяч серебряных рублей, за то, что он увезет их дочь в сибирскую глухомань, Кресты Колымские: в жены своему старшему сыну.

Поскольку чиновничек состоял в ведомстве деда, о предложении узнали у нас дома.

Почему-то странный торг ужасно злил бабушку. Она требовала от деда «принятия мер», считая происходящее нарушением всяческих норм морали.

Дед вмешиваться не стал. Семейство поплакало, но согласилось, обретя собственный домик. А покорная Минодора отправилась в края неведомые и сгинула там бесследно.

Чуть не полстолетия спустя, бродя по кладбищу давно вымершего поселка Кресты Колымские (Нижние), я нашла хорошо сохранившийся памятник из местного камня с надписью: «Господи, прими с миром душу рабы Твоей Минодоры со чады Еленой, Андреем, Акинфием, Меланией».

Музейные архивы объяснили остальное. С началом первой мировой войны Нижние Кресты Колымские (а поселков с этим именем имелось три) потеряли живительную связь с «материком». Прекратился подвоз хлеба, соли, сахара, без чего жить в тех местах невозможно.

Более сильные жители сплавились по Колыме и добирались потом (кто смог) до Усть-Неры на Индигирке, где торговали американские фактории. Большинство же вымерло от цинги. Надо полагать, и жертвенница Минодора «со чады» — тоже.

* * *

Но вернемся к моей семье.

Ярким, дошедшем до меня во многих рассказах близких, событием явилось Трехсотлетие Дома Романовых в Костроме.

Сейчас вокруг русской императорской фамилии уже прошло море елея и слез и, похоже, это далеко не конец.

По воспоминаниям же моих близких, ни малейшего восторга от предстоящего события лучшие люди города не испытывали.

В пожарном порядке строилась на берегу Волги электростанция. Возводилось громоздкое в «ропетовском» ложнорусском стиле здание музея. Задумывался грандиозный памятник возле собора, в общем-то, вопиявший к небесам всей своей многофигурной безвкусицей. Впрочем, смонтировать его помешала революция.

Главное: во всем, что делалось, с избытком присутствовало верноподданническое подобострастие, но отсутствовала душа.

Романовых одинаково не любили и вверху, и внизу.

Ну, личных благ, конечно, ждали все, каждый в меру своих аппетитов и возможностей.

Деду по поводу сему дали действительного статского, наградили очередным орденом (к сожалению, не знаю — каким именно), и еще ему пришлось-таки расстаться с Борисом.

Его заменил бойкий зареченский оfenя — Еремей, который тут же приладился брать взятки за доступ к барину.

Борис, к тому времени хорошо грамотный, устроился конторщиком в еврейской торговой фирме Слуцких. Фирма эта снабжала готовым платьем все небогатое купечество и чиновничество, получая доход за счет рабского труда беспаспортных портняжек — «раков», не имеющих права жить вне «черты оседлости».

Видимо, там Борис насмотрелся такого зла, что кинулся с головой в первую же революционную волну, которая и унесла его из Костромы навечно.

Опять передо мною большая «парадная» фотография: выход августейшего семейства из собора после торжественного молебна.

У Николая типичное, тревожное и печальное, лицо алкоголика.

Властное самодовлеющее и тайно истеричное лицо им-

ператрицы чем-то удивительно напоминает мою бабушку.

Лица великих княжон нечитаемы — на них привычная маска благовоспитанности, не более того. Мальчик бледен и явно очень устал.

Через несколько шагов его возьмет на руки могутный казак, что с готовностью идет сзади.

Строй чиновников удивительно единообразен: на всех лицах, не исключая и деда, одинаковое чугунно-верноподданническое выражение. А точнее — никакого вообще. Это не люди — оловянные солдатики.

Какие-то эмоции заметны в теснмой «чинами» толпе, но, похоже, и они далеко не праздничного свойства. Дело в том, что все получили меньше, чем ожидали, а по-настоящему бедствующие вообще не дождались ничего, кроме пустяковых подарков.

Впрочем, льняные полотенца с двуглавым орлом и цифрой «300», попавшие и в наш дом, оказались такой несокрушимой прочности, что одно из них уехало со мной на Колыму и там не износилось, а было украдено в бане.

На обеде в доме губернатора Николай напился и впал в чугунную неподвижность. Потом взвился и хотел идти в сад. Не сразу поняли: чего ради? Оказалось: пострелять галок на вековых липах. Впрочем, его легко отговорили. Он вообще выглядел человеком добрым, недалеким и покладистым. Таким, во всяком случае, показался деду. Есть печальная порода лодей, добреющих от вина. Пьяные, они готовы оделить добром и любовью весь мир. Трезвые — муҳе, попавшей в паучью сеть, помочь не способны: ни большой, ни малой чужой беды они не замечают. Похоже, Николай Романов был одним из их числа.

А всегда усталого наследника казак во время службы в Ипатии катал на воротине у входа в монастырь. Мама запомнила его скучливое лицо с губами дужкой вниз.

Что изменилось после августейшего посещения Костромы?

Меценаты Третьяковы по-прежнему душили рабочих изощреннейшей системой штрафов. Получивший на руки шесть вместо положенных двенадцати рублей, испитой ткач шел в кабак, где каменномолицая Ржевская с аптекарской точностью отмеряла шкалики.

У заречного люда в слободах пухли животы от вовсю пошедшей в ход дешевой картошки.

Светское общество точно так же кисло в унылом тесном мирке, огороженном со всех сторон им же придуманными запретами.

Скрипач Чижевский раз за разом исполнял в Дворянском собрании «Сентиментальную серенаду» Чайковского, ибо именно за нее когда-то сам маэстро его похвалил.

Дед попробовал было спеть там же ариозо Вольфрама из оперы «Тангейзер» никому не ведомого, а потому сомнительного, Вагнера и похвалы не снискал: новое не одобрялось.

А на волжских пристанях и просто на берегу покатом лежали оборванные завшивевшие люди — крестьяне, выселенные на столыпинские «отруба» и вконец разорившиеся. Дело в том, что вне привычной поддержки «мира» крестьянин оказывался с любой невзгодой один на один. Выбило рожь градом, изба ли сгорела, в родной-то деревне всегда найдется мироед: шкуру после сдерет, но денег одолжит. А на отрубе к кому кинешься? «К медведю в лес!» — уныло шутили миляне. И упирались, не шли на отруба, как бы скучно ни кормила высосанная досуха землица.

В городе неудачники искали любой работы. Ее не находилось. В воздухе пахло холерой. Нет, не выглядела жизнь предреволюционной Костромы ни счастливой, ни богатой, ни сытой. Напрасны сегодняшние по ней рыдания... И ничего не мог изменить в лучшую сторону безвольный и пьющий Николай Романов. Это мое убеждение — деда.

Он принадлежал к передовой части дворянства и искренне хотел добра России. Но как человек, волею судьбы облеченный немалой властью, видел и безнадежное одряхление российской монархии.

Гримаса истории: среди тех, кто сегодня пытается эту монархию реанимировать и вознести до небес, очень много людей, которые именно при том строе оказались бы за чертой общества. Уж во всяком случае, не могли бы рассчитывать на получение хоть сколько-нибудь серьезного образования. Тем не менее...

Впрочем, в народной русской памяти столетиями жила вера в счастливое «Опоньское царство».

Не о нем ли и сегодняшний плач?

* * *

Паникарово. Из двух, близко стоявших, барских домов один принадлежал нам, а другой — семье Трухиных. Граница владений проходила как раз между домами, однако ее никто в расчет не брал.

Семьи дружили, и крестьяне в соседнем селе Шахове их даже не разделяли, одинаково звали — «паникарповские господы».

Село это можно было бы и не упоминать, да есть особая причина. В шаховской церкви служил на редкость умный и волевой священник, отец Амвросий. Приход ему достался хоть и пригородный, но небогатый, а детьми Господь наградил с избытком: семья человек. Шестеро лентяев и недоумков, но среди них, как редкий цветок среди бурьяна, дочь Анастасия, умница и красавица.

Дед звал ее «Марией» в память о «Полтаве» Пушкина. Чернокосая, белолицая, с загадочно-темным взором больших южных глаз, она ни капли не походила ни на рыжеватого костистого отца, ни на бесцветно белокурую мать. Остальные детки все были «со своего огорода», как болтали в селе, а Настя — «цыганская потеря». Поговаривали втихомолку, что отец Амвросий, пономарский сын, ради прихода покрыл девичий грех своей будущей жены.

Так или иначе, Настя росла как диво дивное. Ее способностями не обделил Господь, но отец Амвросий решил, как отрезал: «В епархиальное пусть Манька с Анькой идут, авось хоть с образованием кому-то приглянутся, а тебе и без того жениха сыщем. Грамоте вон учитель наш обучит...» Учитель этот — нищий земец, дылдастый и очкастый, от душевной горести изъяснялся витиевато и униженно. Зашедшего в школу деда спросил, например: «Вас гамма наших звуков не утруждает?»

А дед, к великому неудовольствию бабушки, тоже проторил дорогу в Шахово: носил учителю книги. Но, ехидный вопрос: ему ли одному?

Маме запомнилось, как однажды душистым после ночного дождя июньским утром она встретила Настю на тропинке в маслодельню. Девушка несла два ведра молока на коромысле и не шла — скользила, земли не касаясь.

Высокая, тонкая, смоляная трубчатая коса ниже пояса. Наклонила голову: «Здравствуйте, барышня!» — и тень от строгих прямых ресниц упала до полщеки. Мама в старости утверждала, что не встречала более головокружительно прекрасного лица и стана.

Ничего удивительного: учитель влюбился в свою ученицу, что стало известно и в Шахове, и в Паникарпове. Почему-то именно чопорная бабушка, даже в Паникарпове ходившая в корсете, решила, как тогда выражались «принять в нем участие» — замолвить слово за робкого искателя руки и сердца красавицы.

Вернулась разъяренная. Отец Амвросий сказал, как отрезал: «Вы, барыня милая, свою дочь с умом замуж выдайте, как срок придет, а уж о своей я сам позабочусь».

Бабушку возмутил его независимый тон. Дед посмеивался и напевал «Оружьем на солнце сверкая...», что служило признаком хорошего настроения.

А отец Амвросий и впрямь нашел дочери жениха: сына богатого судиславского купца. Только не по сердцу он пришелся невесте: плакала, просила повременить со свадьбой. Поп и слышать ни о чем не желал — манили деньги.

За день до свадьбы Анастасия исчезла. Бесследно. Тихий учитель, конечно же, был ни при чем — горевал больше всех.

Полиция, несмотря на огромные посулы, не нашла концов. Это очень радовало обитателей Паникарпова. Детям казалось, что восторжествовала справедливость, а у взрослых находились свои соображения.

К собственности паникарповцы относились по-разному. Старшему Трухину менее везло по службе, чем деду. Содержать на небольшое жалование титулярного советника семью в восемь человек представлялось затруднительным.

Но Бог послал этому мягкому нерасчетливому человеку на редкость деловитую супругу. В маленьком, почти безземельном (одни овражные неудобья), Паникарпове она сумела поставить товарную молочную ферму, дававшую хорошую прибыль. Семья, благодаря этому, не бедствовала. Все дети учились в гимназиях. Старший сын, Федор, вместе с Александром — в первой мужской.

Мальчик не совсем обычный. Острый умом, он был наделен еще редким чувством юмора и богатой фантазией.

Мама вспоминала, что именно в последний наезд в Паникарпово летом четырнадцатого года Федя, сидевший рядом с кучером, так его рассмешил, что тот свалился с козел... Федя же придумал и название для их общей детской страны — Панголия, где, конечно же, обитали панголины. Жаль, но до меня дошли только два «панголийских» имени: Бакин (Всеволод) и Бинки (Валентина). Как звали Александра — не знаю. Похоже, стран, подобных Панголии, существовало в книжном мире тогдашних интеллигентных подростков множество. Воля и воображение, взнужденные жестким этикетом, искали выход в безудержном фантазерстве.

О дальнейшей судьбе Феди Трухина еще выдастся случай поговорить.

Наша часть владения в Паникарпове являла, по сравнению с трухинской, мерзость запустения.

Только возле самого дома, украшенного гирляндой ве-

ранд, теснилось несколько грядок с клубникой и любимой бабушкиной зеленью. Тут же мама пестовала нехитрые цветы дворянских усадеб: лиловые и розовые водосборы, огненную «барскую спесь», синий шпорник, раскидистые «золотые шары». Цвели сирень, жасмин и неприхотливая роза «Царица севера»...

Дальше скатывался вниз по косогору дикий липовый сад, заросший могучим бурьяном. В бурьяне жило множество насекомых — неиссякаемый источник радости для Вовы. А на липах по ночам жутко ухали совы.

Сад замыкала болотистая луговина, а за нею начинался нескончаемый бор, неведомо почему прозванный Голодаев. Грибов и ягоды всякой водилось в нем неисчислимое множество.

В бору пряталась ребячья гордость — огромный ледниковый валун по имени Громовик: крестьяне из соседнего села Шахова уверяли, что в грозу он притягивает молнии. «Пангулины» нарекли его Пангом и основали на плоской его мшистой вершине свою столицу. Что и подтверждается фотографией, где вся компания торжественно восседает на камне, до половины утонувшем в зарослях на диво высокого папоротника.

Мама говорила перед смертью:

— Отпраздновали мы именины отца в июле, как всегда в Паникарпове. А назавтра — война... Больше жизни не было.

Кончилось твердое, обеспеченное ясным будущим, существование семьи. Точнее: всего дворянства.

Летом четырнадцатого года, удивительно щедрым на грибы и ягоды, в последний раз приехала на именины сына его мать-актриса.

Время словно бы обтекало стороной эту статную женщину. Чуть прибавилось морщинок возле глаз и губ, но не горбилась脊, а голову украшала корона белокурых, без единой сединки, кос.

Рано поседевшая, жидколоволосая бабушка не удержалась от колкости при встрече со свекровью.

— Неужели в обществе теперь принято красить волосы? — спросила она наивно.

— В обществе по-прежнему не принято задавать бес tactные вопросы, — величественным тоном ответила гостья, чем и повергла в тихий восторг всех детей.

Они любили бабушку и звали ее между собой «мадам Сазан де Базар». По ее же рассказу, вышел во дни ее театральной молодости смешной казус: вся-то роль пажа сво-

дилась к тому, чтобы объявить о прибытии героя дона Сезара де Базан, а вышло...

Бабушка показывала в лицах, как ссорятся подвыпившие инженю либо итальянская примадонна поет «по-русски» арию Вани из «Жизни за царя»: «Бискаристо баспишу, вера бравда баслюжу...» Ну, как было не ходить следом за такой забавницей?

А в этот раз она еще привезла и непривычного вида ларчик, который называла «персиковой коробкой». В ларчике лежал дорогой припас для вышивания, отличная итальянская акварель и красивый деревянный футляр с набором мелких слесарных инструментов по имени «кокоболо». Ни о ком из детей не забыла, а «персиковая коробка» начала свою жизнь на новом месте.

Даже странно, что я сейчас могу погладить рукой ее шелковистый бок...

Дед любил грибы, собирали их на праздничный обед все дети, а искать далеко не надо было: бор рядом. Запомнилось, что нашли сыроеожку, поселившуюся в расщелине Панга. А когда пришли с добычей домой, «мадам Сазан де Базар» в ужасе всплеснула руками: «Боже! В этом доме всех хотят отравить!» — и устроила грибам строгий досмотр через лорнет.

По неведомо откуда забредшему в ее голову убеждению, грибы хотя бы с одним червячком становились ядовитыми. Ясно, что от ребячьего улова мало что уцелело.

Театральной бабушке была суждена еще долгая жизнь. В революцию у нее отобрали горбом нажитый дом в Царском Селе. Выселили ее на кухню. Новая владелица дома, рыжая белоресница чухонка Ингрид, объявила войну прекрасным вышивкам хозяйки. Рвала их с тупым остерьвением. Однажды Прасковья Панкратьевна, и на кухне устроившаяся с умом, сказала:

— Зачем вы все рвете? Продайте! Это же денег стоит!

— Я не воровка — чужим не торгую! А мне ваши буржуйские штучки не нужны! — гордо ответила Ингрид, положив коврик с аппликацией.

Она и мебель «птичьего глаза» отправила в печку. Наверное, осталась бы вообще среди голых стен, но мужа расстреляли раньше, сама же она куда-то сгинула.

А Прасковья Панкратьевна только двух лет не дожила до моего рождения. Умерла в одночасье, простудившись в холодной церкви во время ранней пасхальной службы.

* * *

«Персиковая коробка» не может помочь мне в воссоздании революционного периода жизни нашего семейства: фотографирование вышло из моды надолго.

Как представить мне это изнутри взорванное время? Возы с наскоро собранным, наполовину разворованным, дворянским добром, влекущиеся «из варяг в греки»: с Русиной куданибудь в Козье болото... Торжествующее перемещение бедноты. Сияющее злой радостью, опаленное лицо кухарки Аннушки.

— Ну, барыня, сама теперь вертись возле печи-то! А я с сыночком в твоих хоромах поживу!

— Живи! — отмахнулась бабушка, уже не раз мужественно спасавшая от рук «сыночка» столовое серебро. — Только чем жить-то собираешься? Сына грамоте не выучила. Только и умеет — воровать, птиц ловить да на гармошке тряничать. Он тебе не кормилец.

Не ошиблась Мария Александровна. Запечный Аннушкин сынок вскоре был зарезан в пьяной драке, а сама Аннушка до смерти так и простояла у чужой печи, больше ничего не умела.

А ведь не ей одной, многим, тогда казалось: для того, чтобы стать барами, достаточно поменяться с ними жильем. Менялись. А жизнь и на новом месте оказывалась прежней, безрадостной. Награбленное чужое добро оказалось с крыльышками: прямиком улетало в цепкие руки содержателей «пьяных ям». А работать-то приходилось все на них же — «мануфактурах», в той же пыли.

Впрочем, из молодых многие сгоряча работу побросали.

В городе шло беззащитное разграбление монастырских подворий и купеческих лабазов. Шатались пьяные. Вскипали бурно и коротко митинги партий всех мастей. Но дело обходилось без крови.

Мама встретила на улице увядшую игуменью Богоявленского монастыря. Совсем недавно эта рыхлая немолодая женщина далее своих покоев ногой не ступала, а теперь одышливо тащилась с напрасным прошением в совдеп. Для мамы Богоявленский монастырь связывался с любимыми цветами, кадильным обволакивающим ароматом пасхальных гиацинтов,

чахоточной недолгой красой белой сирени, выгнанной на Рождество.

Поздоровались.

— Барышня, милая, я слышала, вы к Первицким переезжаете, там сад есть, а уж я знаю, как вы цветы любите. Возьмите, Христа ради, наш Богородицын ирис. Вытопчут ведь все! А он явленный, триста лет жил у нас...

Мама прекрасно знала знаменитые белые ирисы игуменьи и, поскольку насчет сада и переезда все было правдой, тут же отправилась спасать редкий цветок.

По всем ветрам теперь открытой территории монастыря бродили наглые парни в поисках доступного для немедленного пропоя добра.

Здоровенный малый в горошчатой рубашке громил деревню крышу погреба — только комья летели.

— Что ж ты зря добро-то портишь? — не утерпела игуменья. — Люди ведь с умом строили, для дела!

— Ха! — гакнул малый. — Сам я и строил, вот штука-то! Сам строил, сам ломаю! И — цыц! Виши, настроение у меня?

Игуменья только вяло махнула опавшей рукой.

— Бог тебе судья! Все ведь заново поднимать будете...

Белый ирис благополучно переехал на новое место жительства. И, чего бы это ни стоило, семьдесят лет сохранялся, переезжая с одного пятака земли на другой. Есть сейчас сорта крупнее и красивее, но вряд ли найдется древнее. Только сегодня вернувшуюся в свои владения церковь Богородицын интерес не интересует.

...Переехали мои близкие к тому самому секретарю, что за спиной не бравшего взяток деда обзавелся собственным домом на Еленинской улице. Это было милостью судьбы: большинству дворянства приходилось хуже. Люди разъезжались кто куда. Неостановимо мелел культурный слой города.

Дом Первицких жил в тени великолепного липового сада, но мама возненавидела эти деревья сразу: их тень убивала цветы! Зато имелся просторный сарай, где поселились куры и стервозная серая коза с черным ремешком на спине. Кроме того, Александр, как один из первых комсомольцев, получил участок в коллективном огородном хозяйстве — на месте того самого огородничества князя Вяземского. Земля там оказалась такая, что в ней, по выражению того же Александра, «и карандаш прорастет».

Мама не могла понять, почему семью не покидает горничная Вера? Ей, как вполне грамотной и классово сознательной, предложили прекрасную работу: сортировать книги в



реквизированных барских библиотеках. А она работу взяла, но, что ни день, забегала к прежним хозяевам.

— Барышня, давайте покажу, как самовар ставить! Барышня, вы не так стираете — кожу с рук сдерете. Смотрите, как надо. Да уж ладно, мужское-то я сама постираю. Барышня, а пол-то голиком надо тереть, коли некрашеный.

Она учила, чему могла, единственного в семье человека, которого приобщить к домашним долам было можно.

Бабушка стряпала, но «черной работы» чуралась. Вова тонул в мире насекомых. Александр набегал изредка — стремительный, окрыленный делом. Но скоро мама поняла: именно его ждет тихий взгляд Вериных глаз. Да где ему было заметить их незабудковую голубизну?

Дед слал из Буковины неразборчивые письма и посылки с пшеницей и кислым, но необыкновенно душистым, сливовым повидлом. Однажды написал: «Ночевали в селеньи Гуссакивцы. Не отсюда ли идет наш род?» Его всю жизнь очень занимало собственное происхождение. Отчасти из-за сомнительного права на дворянство, которое очень много значило в его время.

Однажды Вера принесла два тома в «мраморном» переплете.

— Барышня, вы цветы любите, а тут все про них!

Это оказалось редчайшее издание: Гейслдорфер «Комнатурное цветоводство».

Настольная книга моего детства. Другие дети узнавали на картинках слоников и львят, а я чем-то необыкновенно притягательную «пассифлору» и непонятно чем пугающий «гемантус».

Сейчас, когда я пишу эти отроки, очередной цветок пассифлоры, «цветок страстей Господних», раскрывшийся, как всегда, ровно в полдень, смотрит на меня с окна. Описать его кремовую с синим звезду трудно, да и размышляю я сейчас не о нем.

Сколько прекрасных книг погибло или разбрелось по людям, часто не знающим их цены, только потому, что судьбу книжных сокровищ решала милая горничная Вера, влюбленная в аристократку немого кино Коралли?

Вернулся с фронта дед. Революционная деятельность старшего сына спасла ему жизнь, но смысл существования исчез вплоть до моего рождения. Придет время, и дед отдаст мне все то огромное, что не востребовало самодовлеющее новое общество. Пока же он вместе с мамой занялся огородом.

Еще действовал магазин знаменитой семенной фирмы «Иммер и Мейер». Там и набрали огородной экзотики: пастернака, физалиса, савойской и брюссельской капусты, патиссонов. Не сразу выработалось понятие нужности того или иного овоща. Поначалу преобладал детский интерес к новинкам. Как память о тех первых опытах огородничества, остались в бабушкиной кулинарной книжке презабавные рецепты: «маседуан с пастернаком», «варенье из бузины и физалиса на патоке». Не завидую тем, кто должен был все эти диковины потреблять, но путь всегда один — от сложного к простому.

Куры маме приились к рукам и неслись исправно, хотя огромный меднокрылый петух Первицких и не спускал с зabora нашего белого петушишку.

А вот коза «доилась» только штрафами за огородные потравы. Пойманная на месте преступления в чужом огороде, она благовоспитанно шла... до ворот своего дома. Тут ложилась и начинала мерзостно орать: поневоле приходилось выйти на улицу. Молока же эта серая шкодница надаивала литр-полтора, не больше. Но ее любили за смышленость и веселый нрав.

...Не знаю, кем и при каких обстоятельствах сделана единственная мамина фотография того времени. Юное лицо на ней неотразимо прелестно, но глаза — большие, распахнутые — до краев не по возрасту налиты болью.

Революция вторглась и в личную жизнь умной красивой барышни, у которой, кажется, все в будущем было ясно. С детства она считалась нареченной Феди Трухина, юноши, которому явно по его способностям светила большая карьера.

Федя, вместе с Александром, увлекся революционными идеями и вскоре надолго исчез из Костромы. А его нареченная, юная, обворожительная и ничего не знающая о плотской любви, оказалась, чаще всего в одиночестве, на общественном огороде.

Покатая теплая крыша сторожки из поседевшей дранки, французский роман в руках. С крыши отлично виден весь огород, а надо поглядывать, не явятся ли любители дармовщинки. Дежурили по очереди. Но ведь и позагорать хочется...

Вот на этой крыше и высмотрел соблазнительную добычу немолодой женатый человек, бывший земский учитель.

Мама говорила:

— Если бы я хоть что-то знала о том, что может произойти между мужчиной и женщиной, не случилось бы ничего...

А случилось простое и непоправимое: он воспользовался неопытностью красивой девочки, она его возненавидела люто и навсегда. Он жить без нее не мог, она не хотела даже выслушать его.

А надо бы...

Потому, что тогда он, может, и не повесился бы в той же огородной сторожке, а на ее жизнь не легло бы предсмертное проклятие отчаявшегося человека.

Мне страшно заглядывать в ту далекую бездну. Да и знаю я мало: мать лишь однажды и вскользь рассказала мне о случившемся в юности. Расспрашивать я не посмела. Не тем ли человеком сделана единственная ее фотография тех лет? Не ведаю...

Случившегося близкие не заметили. На то оказались свои причины.

Александр тяжело переживал быстрое крушение юношеских революционных идеалов. Совсем не о крови и грязи мечталось на яичной квартире при свете лампы-молнии... Концы с концами не сходились даже в личном плане.

Исходя из революционных убеждений, он должен был бы принять преданную любовь «товарища Веры». А его, как в омут головой, тянуло во мрак очей меднокосой красавицы Надежды Чемодановой, столбовой дворянки. Она же, не скрываясь, говорила: «За черта выйду, лишь бы в Париж увез!» Увезти в Париж Александр ее не мог. Отступиться — тоже. «Товарищ Вера» продолжала, под видом опеки над барями-неумехами, бывать у нас дома.

Тягуче жаловалась барышне:

— Я ведь не какая-нибудь... Мне немного нужно. Комнату дали — спасибо. А жемчуг тут церковный делили, так я не взяла. Бога, конечно, нет, а все одно нехорошо... Вы уж братику-то вашему скажите. Он ведь супротивник делам таким...

Не исключаю, что именно от всего этого хаоса мыслей и чувств Александр ушел с костромским отрядом защищать Петроград от Юденича. И погиб одним из первых.

Вот почему прошла незамеченной девичья беда.

Геройская гибель старшего сына-революционера спасла семью от репрессий. Дед стал счетоводом в часовой артели, а бабушка — машинисткой. Пригодился ей навык игры на рояле: быстро освоила машинку и печатала очень хорошо. За что и терпели в бакинституте, ибо характер ее от времени и потери сына легче не стал.

Мама закончила гимназию и семнадцатилетней девочкой пошла учить первоклашек. На сорок лет своей дальнейшей жизни. В начальную школу ее допустили. Окончить хотя бы

педучилище не дали: происхождение мешало. А еще — неистовые доносы, которые писала на нее коллега-выдвиженка. Они, по причине совсем уж невероятной глупости, в «дело» не превращались. Может, просто везло? Но где-то оседали, накапливались и не давали маме хода. Тоже знамение времени.

Всеволоду удалось уехать в Ленинград к старшему брату бабушки, так называемому «дяде Володе». Он — искусствовед, отличный скрипач, имевший инструмент работы Батищева, — одиноко жил в старой петербургской квартире, где на подоконнике спокойно можно было улечься поперек его непомерной ширины, но мелкие шишки рамы почти не пропускали света. В квартире царили полумрак и антикварный хаос.

Дядя Володя умер в блокаду, все вещи пропали. У нас, как память о нем, хранились две броши, подаренные им сестре еще до революции: прелестная камея с силуэтом нимфы и золотая сканевая флорентийская брошь с семью жемчужинами, шестью белыми и одной черной.

Вещи эти поглотила Отечественная война. Так же, как и ореховую мебель в стиле рококо, и ценнейшую дедову библиотеку.

Дом Первицких сгорел в одночасье ночью, подожженный новыми жильцами-беженцами. Диким южно-русским племенем, понятия не имевшим, как надо топить печи. Это случилось, когда мне исполнился год.

Вероятно, поэтому я всю жизнь смертельно боюсь огня.

Часть вещей удалось спасти, и каким-то образом мои родичи сумели получить довольно большую, в три комнаты, квартиру в купеческом доме Скалозубовых.

Дом этот считался аварийным, возможно, потому сравнительно легко досталось жилье.

Похоже, дому в нынешнее смутное время суждена еще очень долгая жизнь.





* * *

...Надо рассказать и о семье моего отца. Где-то в начале прошлого века угодил в бессрочную «николаевскую» солдатчину парень из небогатой семьи в селе Святое.

Село это вскоре перекрестили в Некрасовское: якобы бывал поэт в тех местах... Меж тем озеро Святое и село на его берегу — древняя гордость Костромщины. Здесь местное ополчение Божиим соизволением наголову разбило татар. Оттого и озеро — Святое.

Запамятовали... Как и многое другое, стертное вместе с названиями из памяти народной.

Так вот, забытый односельчанами вечный ратник нежданно-негаданно вернулся через десять лет: хромой, мрачный, но с большими деньгами.

В деревне не спрашивают, откуда деньги взялись. Их обладателя начинают уважать и, ясное дело, ему же завидовать. «Гусара» Захара Алешина еще и бояться стали: уж больно неистов оказывался в гневе. По счастью — редком. Обычно, большой этот цыгановато-черный мужик с кольчатой бородой просто гасил вокруг себя любые проблески радости тяжелой молчаливой угрюмостью.

Женился он еще до службы на безответной девушке, мирской сироте. Она честно ждала мужа, а по возвращении нарожала ему полную избу: шестерых деток.

Дом он не строил — купил. Под стать себе: неодолимо прочный и мрачный. Бревна необхватной толщины, оконца же малы, как крепостные бойницы. По северу нашей губернии дома, подобные этому, встречались часто, а здесь, вблизи города, один такой и нашелся.

Занялся Захар торговлей скобяным товаром и в том преуспел. На торговую стезю и сыновей направил, да вот беда:

ни одному из них не досталось и капли отцовской силы и смекалки. Про таких в народе говорят: «Ни с чем пирожок».

Дед мой по отцу, Павел, был в семье младшим, самым добрым и бесполковым малым. К тому же, рано познакомился с бутылкой...

Добытое отцом он не умножал, а пропивал, имея, в свою очередь, троих сыновей.

Но, поди ж ты, парни у него народились один к одному: умные, способные, даже просто талантливые. Мой будущий отец среди них — старший и самый одаренный.

Детство у него и братьев соленое.

Батя, что ни день, отправлялся в город «по делам», а возвращался оттуда с бутылкой. Но, поскольку был он человеком добрым, по-своему совестливым, бутылку высасывал на обратной дороге и, пустую, прятал под крыльцо.

Ребятишки бутылки из-под крыльца выуживали и сдавали лавочнику. Не за деньги — за ломоту ситного. Дома часто ничего не оказывалось, кроме пустых шей либо чугунка картошки. Однажды произошло чудо: вместо скучных бутылок под крыльцом засверкала россыпь фигурных пузырьков, мальчишки и их тащили на сдачу, но лишь наигравшись вдоволь...

Откуда им, несмышенышам, было знать, что с началом империалистической войны государь запретил продажу водки и никчемный их отец перешел на одеколон?

Сейчас я думаю: почему не вспомнили о горьком и ведь совсем недавнем опыте нынешние борцы с алкоголизмом? Неужели лишь потому, что опыт принадлежал царскому правительству?

Тех, кто быстро забывает, в Костроме издавна кликали «Ерема Беспамятный». Целую нацию нарекли наши руководители одним именем, разорвав незыблемую связь времен. Восстановима ли она сегодня?

Бедный Павел Алешин перехода на одеколон не выдюжил — помер в одночасье. Подрубила его жизнь беда: по пьяной лавочке выкрали у него огромную сумму — сто рублей — мирских денег. Пришлось все хозяйство продать подчистото, дабы спастись от позора. Бесславья избежал, но сил недостало на дальнейшую жизнь.

По счастью, дети уже успели подрасти и пойти в ученье.

Культурный и образовательный капитал моего отца — учительская семинария. Я не знаю, какого рода было это учебное заведение. Смотрю на единственную и чудом уцелевшую книжку рассказов «Квартира номер последний», вышедшую при жизни отца, и пытаюсь понять, какой мерой

природа отпустила ему писательский дар?

Книга нигде не уходит за рамки автобиографии. Но написана сочно, живо, правда, с налетом «пильняковщины». Ею в те годы, как корью, перебаливали все молодые писатели.

С фотографии смотрит на меня лицо доброе и сильное. Кarie, по-бычыи широко расставленные, глаза, короткий нос, крутой подбородок. Но при том женственно красивые мягкие губы и тихий взгляд.

Противоречивое лицо...

Хотеть этот человек умел, несомненно, и мечталось ему о многом. Храбро воевал в империалистическую, был ранен, получил чин прапорщика и с ним право на личное дворянство. Женился на купеческой дочери, явно метя на более высокое положение в обществе.

Революция поломала и его жизненные планы: пришлось перестраиваться.

Крестьянское происхождение открыло Александру Аleshину дорогу к любой общественной деятельности. В течение своей недолгой свободной жизни он больше кем-то из пишущих руководил, чем писал сам. Тоже характерно: советская власть, как Сатурн, порождала и пожирала таланты.

Что привлекло в нем мою красивую, избалованную мужским вниманием, мать?

Земная первозданность и сила. С его дарованием она не считалась. Просто не брала его в расчет. Она и Маяковского, с которым свела судьба, насмешливо называла «фигляром». Ее представления о таланте тонули в облаках пушкинской высоты.

А с моим отцом она познакомилась на даче, и роман их поначалу носил столь же легкий и необязательный характер.

Отец написал ей: «Довольна комнатой, собой, своим изящным ималетом. Довольна земляничным летом, но только — не судьба!»

Вероятно, он не понимал, что моей матери, которая говорила: «Мне в гимназические годы и завидовать-то было некому», — примириться с тогдашней судьбой учительницы без специального образования было ох как нелегко!

Мать ответила: «Всем хороши. Гребете вы прекрасно. Лес знаете и цените грибной удачи миг. Что пожелать? Живите не напрасно... Но — только не пишите книг!»

Легкая словесная пикировка определяет первоначальное мелководье романа.

К тому же, отец женат и у него двое детей: сын и дочь. Жена — сумеречная плакальщица, на всю жизнь испуганная революцией. С ней скучно.



Дачный роман не кончается вместе с дачным сезоном. Он осложняется беременностью мамы и драматическим несовпадением эмоциональных состояний души двух, очень разных, людей.

Случай нередкий. Когда он готов бросить семью и уйти к влекущей его солнечной женщине — ей того не нужно. И, наоборот, когда, отчаявшись, он готов уехать в другой город — мать удерживает его возле себя. Тягостную эту историю прерывает арест отца. Многие годы спустя, я буду пытаться отыскать его следы на Колыме, но среди тысяч тамошних, морозом и солнцем выбеленных, черепов, как найти один-единственный? И только годы спустя я узнала, что погиб мой отец не на Колыме. Был он через пять лет после ареста освобожден. Больной, сломленный, доживал в Иванове, но с началом Отечественной войны стал проситься на фронт. В 43-м был взят добровольцем и отправлен на рыхье окопов под Ногинском — ожидалось летнее наступление немцев.

Там и умер. Похоронен в братской могиле.

* * *

Ну и хватит о прошлом и предках. Более или менее, с ними все ясно, а глубже не копнуть: мама уничтожила все письма. Не понимаю, каким образом фотографии уцелели?

Так или иначе, возвращаюсь в мир собственного детства.

Вопрос без ответа: почему моего сангвинического деда неодолимо влекло все, что связано со смертью? Гробовая поэзия Надсона и Жуковского, кладбище в качестве любимого места прогулок со мною. Сквозь жизнь его пролегла непонятная мне, малышке, трещина. Другим она, быть может, и не была так уж заметна, но наедине со мною он становился самим собой и давал волю скрытой печали...

Мне на кладбище нравилось. Вольно шумели березы, пели птицы, на забытых могилах наливалась дикая земляника. И редко когда повстречашь человека, чаще всего старапушки в бессрочном черном платке.

Именно тогда, в годы первой пятилетки, люди начали забывать о своих ушедших.

Ключевое воспоминание. На переломе весны к лету мы бредем среди могил по высокой, еще нежно-шелковистой траве. Медово свищет иволга. Мир вокруг нас кроток и тих. Дед читает «Двенадцать спящих дев» Жуковского. Я знаю эту

балладу, очень ее люблю. Но больше всего мне нравится добродушный конец: «И дышит ветерок окрест, как дух бесплотный вея; и обвивает светлый крест прекрасная лилля».

В ту секунду, когда глубокий низкий голос деда произнес эти слова, я совершенно ясно увидела, что древний покосившийся крест на чьей-то забытой могиле оплели темные стебли, похожие на выонок, а с них грустно опустились долу белые колокольцы цветов. Повеяло густым, почти осязающимся, никогда не встречавшимся мне доселе, ароматом. Лишь годы спустя я узнала, что лилии пахнут именно так.

— Дедушка! Смотри! Лилля! — воскликнула в восторге. Он оглянулся недоуменно.

— Где? Это? Какая же это лилия — выонок...

Но я-то продолжала видеть еще несколько секунд удивительные белые цветы...

Затем перехватило дыхание и явилось ощущение мгновенного падения с огромной высоты. Березы, крест, сама земля словно бы шатнулись... и встали на место такими же, как всегда. Стрелолистый выонок со свернутыми жгутиком по слуху полдня розовыми цветами даже и не напоминал ничем только что виденную красоту. И пахли его цветы горьким миндалем.

В тот день впервые приоткрылась для меня дверь... я и сама не знаю — куда? В другое измерение? Но с тех пор и до сегодняшнего дня я изредка вижу то, что недоступно другим. И увиденное всегда упоительно прекрасно.

Мне кажется: это страна наших несбывшихся желаний. В неведомом далеке они все осуществляются. Дверь в волшебную страну изредка приоткрывается, как утешение, лишь для тех, кто в здешнем мире лишен драгоценнейшей радости исполнения желаемого страстно.

...Я росла среди непонятных звуков. Обо всем, что меня не касалось, взрослые говорили по-французски или по-немецки.

Учить меня с младенчества иностранным языкам не захотела мама. Она лелеяла несбыточную мечту воспитать меня «простой советской девочкой». И не понимала, что это невозможно уже потому, что меня окружали отнюдь не «советские» вещи — обломки былого благополучия семьи, что в мою жизнь с младенчества вошел Гомер, а береза была для меня еще и «бетула альба».

Каким образом и когда я выучила латынь — не знаю. Вероятно, привыкшая к латинским наименованиям растений мать машинально называла их по латыни, показывая мне... Знание это осталось со мною на всю жизнь. Мог бы остаться и французский язык, но...

Мама была человеком сильным, сдержанно-страстным, мятущимся. Таким натурам необходима вера — все равно во что.

В ранней юности она горячо верила в Бога. Пела в гимназическом церковном хоре, плакала в храме при ангельских звуках «Свете тихий».

Бог не сохранил мира ее юности, и она отринула его, всей душой приняв революцию.

С тем же упоением теперь она вместе с ребятишками в школе распевала: «Сергий поп! Сергий поп! Сергий дьякон и дьячок! Вся деревня, вся деревня Сергиевичи!» Ходила на строительство народной библиотеки, на расчистку развалин взорванных церквей. Она захлопнула дверь в минувшую жизнь раз и навсегда и хотела, чтобы я принадлежала только дню сегодняшнему.

Но при всем том, увлеченная общественной работой, занималась мною мало, передоверив мое воспитание дедушке и бабушке.

Бабушка крестила меня, но не Ольгой, а Еленой — ей это имя нравилось больше. Пыталась и ко мне, худосочной ма-лоежке, применять свой метод насильтственного укармливания, но безвредно, ввиду почти полного отсутствия продуктов. Я бы, вероятно, не выжила в те голодные годы, если бы не Торгсин. Мама позже шутила, что я в детстве «съела все серебряные ложки, для счастья ни одной не осталось».

Дед, помимо чтения загробных стихов, рассматривал вместе со мною картинки в «Ниве», комментируя увиденное без скидки на возраст. Кровавые битвы, заговоры, никого не жалеющий нахлест народных бунтов — история входила в мое сознание во всей своей неприкрытоей жестокости и безнадежности.

А детским чтением был дореволюционный журнал «Светлячок», с памятным перлом: «Изо всей цыплячьей роты Пик, цыпленок желторотый, лучший рядовой. Обращался с ним всех строже генерал, цыпленок тоже, петушок лихой...» Далее там требуется спеть «Ку-ка-реку!» Но Пик отвечает сконфуженно: «Я ведь курочкой родилась, эдак не могу!» Имелась там и сентиментальная повесть о детстве Михаила Романова и... достаточно иного, вполне антисоветского вздора.

Дополнительно ко всему, по воскресеньям к нам, раз в две недели, сползалось общество, которое дед называл «обломками империи». Пили чай и играли в «ма-джонг». Игру эту дед вывез с русско-японской войны.

Приходил елейный, с масляными глазками, Первацикий, бывший дедов секретарь и домовладелец (тоже теперь быв-

ший), чахоточного вида, а на самом деле, отменного здоровья человек, скрипач Чижевский, который, если общество пожелает музенировать, с чувством исполнит все ту же «Сентиментальную серенаду» Чайковского. Рано поседевший, ушибленный революцией Трухин, чей старший сын, уже упоминавшийся, Федор делает блестящую карьеру в Красной Армии, что отца пугает. Бывший учитель гимназии Незвецкий — смешной кривоножка. И, опять же, бывший протоиерей Иоаким, а ныне безбожник Аким Венедиктович с хитряющим взглядом умных поросильских глазок из-под белой навеси ресниц. Бывали и иные лица.

Особенно мне нравилась сухощавая, иконоликая барыня, с которой приходила маленькая черная собачка Горошинка. Одно было плохо: от барыни всегда до обморока дурно пахло.

Лишь взрослей я узнала, что таким образом она выражала свой протест советской власти. «Меня лишили прислуги. Пальцем о палец не ударю, чтобы обслужить себя!» Новые ее соседки, простые бабы, ошалев от барского духа, примерно раз в месяц вытаскивали барыню, ругаючись, в баню. Кто-то стирал белье, кто-то мыл пол...

Ругань на барыню не действовала.

Ласковой Горошинке жилось легче: ее любили и кормили.

Очень она и мне нравилась! Но по нашей квартире, стучала по мне, как по мебели, проволочным хвостом, ходила лежавая сука Пойма, равнодушная ко всему, кроме охоты.

С давним этим дедовым увлечением тоже творилось неладное. Из всей его коллекции ружей осталась одна простая «тулка». Может быть, именно потому, что простая, — добывчивая.

Дед приносил с охоты тетерок, рябчиков, уток, зайцев и очень нравившихся мне пестреных клювастых бекасов, которых жарили на кусочке хлеба...

Казалось бы: живи да радуйся.

Но каждый его отъезд на охоту сопровождался бурным скандалом на немецком языке и после — долгой истерикой бабушки.

В скрежещущем потоке немецких слов я все время вычленяла смешное русское слово «Чухлома».

Через много лет я сама впервые приехала в Чухлому. Вечером на въезде ничего не смогла рассмотреть.

Утром вышла из гостиницы и обмерла. Незамутненные ядовитыми дымами лучи солнца заливали неоглядную голубую гладь замерзшего озера. Снег еще не укрыл щемящие зна-

комого с детства булыжника сбегающей к озеру улицы. Спокойно, вечно и добро стояли вдоль улицы старинные деревянные и краснокирпичные дома. Перекликались петухи.

Кострома моего детства? Нет!

Знакомое чувство мгновенного ухода из действительности на миг подкосило ноги.

Вдруг я поняла, что в простеньком деревянном домике на последней высоте над озером — дальше стремительный спуск вниз — жила дедова любовь. Кто — не успела понять, но я и сейчас уверена, что не ошиблась.

Дед сам в ту единственную секунду запредельного существования оказался рядом и дохнул на меня печалью и страстью своей неистовой до старости души. Кто она была — приозерная чаровница — не узнать теперь никогда. Но все чаще и чаще думается мне: а не сбежавшая ли то красавица-поповна из Шахова?

* * *

Не получалось из меня советского ребенка! В детском садике, куда меня отдали, молоденькие воспитательницы табунком ходили следом за мной по дворику, наугад тыкая пальцем в росшие там простеневые цветы. «Рудбекия, флокс, аспарагус, хризантемум лейкантемум», — называла я цветы, дивясь непонятному мне изумлению.

Певучие эти слова жили в нашей семье всегда, ничьего внимания не привлекая.

Я скучала. Игры меня не манили. Игрушки — тем более. Я никогда не баюкала кукол, не домовничала с детской посудой.

Мне нравилось петь и танцевать, но занятия музыкой случались нечасто. Зато моя воспитательница, юная комсомолка с библейским именем Ева и чудной белокурой косой, с непонятным, тонально неверным надрывом в голосе читала нам противную книжку про Павлика Морозова.

Что он предал отца, я понимала, а чего ради пошел на это — оставалось за чертой моего сознания. Когда Ева Ивановна сказала: «Вы все поняли, дети? Давайте прочтем эту книжку еще раз?», я встала и заявила сердито:

— Ее и один раз не стоило читать. Павлик — предатель!

Тут Ева Ивановна задала мне вовсе глупый вопрос:

— Это тебе дома так сказали?

— У нас дома таких книжек нет, у нас есть Гоголь!

Как раз тогда дед читал мне «Вечера на хуторе близ Диканьки», и я млела от удовольствия.

— А Ленина и Сталина ты любишь? — с опасной дрожью в голосе поинтересовалась Ева Ивановна.

Дрожь эта насторожила меня, я замкнулась и промолчала, что, конечно же, было немногим лучше отрицательного ответа.

Мое «дело» вскоре усугубилось конфликтом с педологами.

Четыре суетливые очкастые женщины нагрянули к нам в садик внезапно и затеяли какую-то непонятную колготню с вопросами, лабиринтами и карточками.

Особенно запомнилась их предводительница: плоская, с болотно-зелеными глазами, плавающими за стеклами сильных очков. Она все твердила:

— Дети! Вы должны думать самостоятельно!

Вот дура, мысленно возмутилась я, разве может кто-то думать за меня? И мгновенно потеряла интерес ко всем их затейм. Неуважение к глупости сидело у меня в крови.

В результате, я заработала направление в детский сад для дефективных детей, куда меня, конечно, не перевели, но кое-какие важные для себя выводы я сделала.

В нашем маленьком, обидчивом и ябедном, мирке не существовало равенства и справедливости.

Самой одаренной педологи хором объявили носатую кувшинорылую и тупую Берточку Будареву.

Все дети знали, что она дурочка и капризуля. Но отец Берточки занимал должность главного инженера льнокомбината, которому садик принадлежал. Берточке разрешалось все: носить из дома собственные игрушки и сладости, ссорить с их помощью детей, не спать днем, безнаказанно обижать малышей.

Я ведь попала сразу в среднюю группу, а были и малыши — несчастный народец, которому доставалось со всех сторон.

Кроме Берточки, имелись еще две-три девочки, которым все сходило с рук. Но, Бог мой, сколько шишек сыпалось на голову часто вовсе ни в чем не виноватого Юрки Гречина!

На детсадовской фотографии он стоит рядом со мною, зыркая вороватыми кошачьими глазищами. У нас обоих одинаково смешно торчат уши. А рядом мы потому, что других желающих оказаться в обществе «хулигана Гречина» не нашлось.

А он вовсе и не был «хулиганом»: предприимчивый задира из огромной полуголодной рабочей семьи. Его отец не только немецкого спортивного костюмчика, как Берточке, не мог купить сыну — штаны Юрка донашивал после старших братьев.

Юрка мог хорошо учиться, но позже беспощадная воен-

ная голодуха сделала его вором и подвела в колонии под финку «беспредельщика».

Я же, пожалуй, именно с раскованным и прямым Юркой чувствовала себя спокойно. Общество девочек угнетало завистью, ложью и беспардонным подхалимажем перед воспитателями и нашей «аристократией».

Садик наш занимал на редкость уютный особняк фабрикантов Кашиных. От прежних хозяев в нем уцелело дорогое пианино и цветы.

В центре зала стояла кадка с таким огромных фикусом, что он даже цвел, правда, бесплодно. На окнах красовались алые и бледно-розовые розы. Поскольку мама успела уже на всю жизнь заразить меня цветоводством, я тут же принесла домой черенки от этих роз.

Оба сорта имели более чем столетнюю историю, красная называлась «Грусан Теплиц», розовая — «Маман Кош». Обе они ушли из моей жизни лишь вместе с крушением всей нашей семьи полстолетия спустя...

Мне недоставало в садике простора, привычных дальних походов. Как дикий зверек-бегун, вроде койота, я носилась по тесному двору взад-вперед, то и дело налетая на кого-то или путая затеянную воспитателями игру. Со мною не знали, что делать.

Спать днем я тоже не могла, но именно благодаря этому однажды получила подарок судьбы.

Воспитательницы наши, в общем-то, были обычными девушками, мечтавшими о женихах.

Грядущая война пощадит из них лишь одну, а нашей Еве Ивановне готовит мученическую смерть разведчицы в тылу врага.

Но они того, к счастью, не ведали.

Девушкам хотелось любить, веселиться и слушать полуzapretную западную танцевальную музыку.

Во время тихого часа кто-то принес патефон, завел его в пустой игровой комнате, и я замерла при первых же звуках фокстрота «Китайская серенада». Я никогда не слышала подобного ритма! Дома у нас играли и пели только классику.

Музыка действовала на меня чрезвычайно сильно. Взрослые быстро поняли, что с ее помощью мною легче всего управлять.

Стоило деду пригрозить: «Сейчас «Чайку» спою!», — я становилась шелковой.

В награду же за послушание я получала «Новгород» или «Вечернюю звезду».

В тот день я услышала нечто столь зажигательное, что

немедленно соскочила с постели и пустилась в пляс. А за мною и остальные, кто не спал. Ну... чем это кончилось, ясно.

Впрочем, кажется, больше нас пострадали воспитательницы.

* * *

Непростая задача — увидеть себя саму малышкой. В помощницах все та же «персиковая коробка».

Девочка, которую фотограф, ввиду малого роста, поставил на стул, на первый взгляд — славный ребенок. Вьющиеся, до белизны светлые волосы, вздернутый носик, тугие щеки. Ножки коротковаты, сразу видно, но они совершенно прямые, что в те времена бывало нечасто: не умели тогда бороться с рахитом... Зато очень красивые руки с длинными тонкими пальцами.

Впечатление обыденной простоты лица начисто снимает просторный и широкий лоб и, того более, взрослый, даже чуть ли не старческий, настороженный и невеселый взгляд голубых длинноресницных глаз.

Я — тяжелый ребенок. Во мне уживаются и нетерпеливая взрывчатость, и почти не покидающая меня скучливость. Я не умею играть одна, но не переношу и массовых «мероприятий».

Последняя особенность натуры останется со мною на всю жизнь и в будущем лишит многих интересных впечатлений только потому, что они будут связаны с участием в коллективной экскурсии.

В детском садике я замкнута, у меня нет подруг. Дома я, как надоедливая тень, преследую взрослых нытьем: «Что мне делать? Ну, скажите, что мне делать?!»

Никто не знает — что. И я сама — тоже.

Когда гложущая неопределенная тоска достигает апогея, я становлюсь неуправляемой и опасной. Именно в такую минуту запустила кружкой в любимейшего деда, подожгла вату на туалете у бабушки... Во дворе меня побаиваются и кличут «Бешеной».

Но однажды настал внешне ничем не примечательный день перелома характера и, надо полагать, судьбы.

Комната у нас три. Одна из них, светелка, не имела прежде ни отопления, ни света. Владельцы дома на зиму ее просто запирали.

Для нас это недопустимая роскошь. Домовый умелец Тягунов (погубивший яблоню) за небольшую мзду сложил в комнате печурку с конфоркой.

Света по вечерам в комнатке не прибавилось, но сидеть возле топящейся печурки мы оба с дедом очень любили.

В тот вечер, как всегда, теплые блики огня бегали по низкому беленому потолку. На конфорке аппетитно шкворчала сковорода с картошкой. Дед при свете печного огня читал испанскую книгу, а я просто ждала, когда поспеет мое любимое блюдо: картошка, жаренная на постном масле.

Испанский язык дед выучил уже при мне. Легко, потому что прекрасно знал латынь.

Ждать мне быстро надоело, и я, как всегда, начала каючить:

— Дедушка, ну скоро? Дедушка, я картошки хочу!

Дед повернулся, глянул на меня сквозь очки особенно глубокими темными глазами. Думаю, что именно неверный мерцающий свет огня придал его взгляду в тот миг завораживающую пристальную силу.

— Послушай, что я тебе прочту...

Книга в его руках оказалась сборником испанских легенд.

К сожалению, я не могу передать изысканной прелести старинных витиеватых оборотов речи, а в них-то и заключалось обаяние услышанного мною.

Я просто пересказываю суть.

Испанский принц и его оруженосец попали в плен к маврам. Те сначала предложили им отречься от Христа, а когда поняли, что пленников не сломить, придумали им страшную казнь: поджарить живыми на решетках.

Когда огонь раскалил прутья, оруженосец не выдержал и обратился к принцу:

— Господин мой, мне больно, нет сил терпеть!

Принц глянул на него с печалью.

— А я что же, по-твоему, на розах лежу?

Не знаю, какую надчеловеческую силу вложил дед в последние слова, но вздрогнули стены комнаты, и на миг я сама стала тем гибнущим в молчании принцем... Я поняла великую необходимость терпения!

С того дня меня словно подменили: я стала терпеливой. Не на радость себе самой, но навсегда.

Вместе со мной в детский садик ходила девочка из соседнего двора со смешным именем Натоля. Безотецкая дочь ткачих. Девочка добрая, простая и очень говорливая.

Как-то раз она мне с гордостью сообщила: «А мою маму в партию приняли!» Даже не задумываясь, я ответила: «А моя мама в партии давно!»

Я не сомневалась в своей правоте. Моя красивая, занятая собой мама возникала в буднях моей жизни нечасто, но

каждое ее появление становилось праздником. И само собой разумелось, что все лучшее в жизни, бесспорно, принадлежит ей.

«Не-ет, — убежденно замотала головой Натоля, — твоей маме нельзя быть в партии! Вы — баре!»

Я знала, что во дворе нас кличут именно так, но не придавала значения чужим усмешкам. Все наше оставалось высшим и лучшим в моем сознании. И вот впервые я поняла, что в окружающей меня жизни есть нечто стоящее, что может нам и не принадлежать. Словно малая веточка в душе хрустнула, сломавшись под тяжестью первого разочарования. И уже больше не срослась.

* * *

Доковыляла кое-как до весны скучная детсадовская зима. Прогремел оркестрами, порадовал любимой песней «Утро красит...», полакомил пирогами Первомай. Подошло лето, и мы начали собираться на дачу в деревню Становщиково.

Во время своих сегодняшних долгих одиноких прогулок я всегда смотрю на другой берег Волги. Вижу шатер знаменитой становщиковой сосны, дом, где мы жили, пихты возле него на косогоре... Но никогда я не решусь ступить на тот косогор снова. И не хочу видеть сегодняшнего оскудения земли моего детства.

Становщиковый лес, сведенный в войну, вновь поднялся и загустел, но я-то знаю, что это лишь тень настоящего леса и нет мне туда пути.

Мало того: человек может стать с лесом единым целым только тогда, когда папоротник вровень с его лицом, а под елку можно зайти, как в дом, не нагибаясь.

В лес я убежала первым же вечером после нашего приезда в Становщиково.

Солнце склонялось к закату, и в лесу взрослых людей было еще совсем светло. В моем мире уже сгостились сумеречные тени. Под густым пологом папоротника нездешним холодным светом замерцала гнилушка на пне, и, словно брызги от нее, там и тут на никлых веточках бересклета, на стебле заснувшей смолки замелькали светлячки.

Юркнула согнанная с теплого березового корня ящерица, кто-то быстрый, неузнанный, в упор сверкнул на меня красноватыми глазами и исчез. Сварливо застrekотала пичужка, сидевшая в земляной ямке. Когда она взлетела, в

сплетенном из травы гнездышке оказалось пять рябеньких яичек. Я их не тронула.

Мой малый лес из папоротника и кустов казался мне бесконечным и неодолимым. Но внезапно он выпустил меня на полянку, которую для себя расчистила раскидистая ель.

Тонкий острый луч солнца накосо пробился через ее крону, и в том месте, куда он упал, стоял самодовольный пузатый белый в замшевой коричневой шляпе, до того ладный, молодой, полный сил, что рука не поднималась сорвать его... Возле этого гриба и нашел меня дед.

За побег мне не попало. Может быть, просто потому, что взрослые слишком устали от хлопот с переездом.

На другое утро мне сказали, что приезжает дядя Вова.

О нем я была наслышана сызмальства: «Дядя Вова учится в Ленинграде и живет у дяди Володи, который чудно играет на скрипке... Дядя Вова в Таджикистане ловит змей... Дядя Вова отправился с экспедицией на Памир... Дядя Вова пишет книгу о перепончатокрылых насекомых...»

Он приехал. И оказался ниже всех ростом, даже мамы. На голове негритянская шапка вы ющихся волос. Лицо смуглое, острый быстрый взгляд карих глаз из-под старомодного пенсне. Плечи широкие, руки длинные, и двигается он с не-постижимой ловкостью. Обычно серьезен, но изредка лицо его прямо-таки расцветает в белозубой улыбке.

Для начала знакомства он предложил мне:

— Хочешь фокус-покус?

Еще бы я не хотела!

Он взял вилку, сделал какое-то почти незаметное движение рукой — и на зубце вилки оказалась пролетавшая мимо муха! Ну как же было не влюбиться, мгновенно и безоглядно, в такого ловкака!

А он еще и начал читать неслыханные стихи.

Я привыкла к омытому слезами романтизму Жуковского, к тоскливым жалобам Надсона.

А тут: «Как смутно в небе диком и беззвездном! Растет туман... но я молчу и жду, и верю, я любовь свою найду... Я конквистадор в панцире железном». Или: «Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом, жена на локоны взяла последний рубль, супруг, убитый лавочкой и флюсом, подсчитывает месячную убыль».

Я ходила за дядей Вовой неотступно, прося: «Ну, еще что-нибудь! Еще!»

И тогда он прочел свои стихи о Бухаре. Жаль, что от них в памяти сегодня осталась только величавая, неспешная, как

путь каравана, мелодия. Полагаю, стихи его были по-настоящему талантливы.

В наши дни, незадолго до маминой смерти, я получила из Москвы письмо от совершенно незнакомого человека. Он спрашивал, кем я прихожусь Всеволоду Гуссаковскому и не сохранилось ли у меня его стихов, которые он пытается собрать...

Увы, готовая к изданию рукопись стихов дяди Вовы погибла в блокаду вместе с огромной библиотекой, старинной скрипкой и другим антиквариатом дяди Володиной квартиры.

Лицо дяди Вовы изменчиво, как погода в ветреный день. Каким-то образом чопорная бабушка не сумела его заморозить. Тем не менее, чаще всего на нем лежит оттенок суровости и давней печали.

Впрочем, этого я еще тогда не понимала. Мне обещана «великая ловитва», и Бог с ним, выражением взрослого лица.

Провожая нас на прогулку, мама напутствовала:

— Бакин! Ты все-таки поглядывай, кого Тотошка ловит...
Она ведь все, что угодно, готова в руки взять.

— Прекрасно! — ответил дядя Вова. — У девочки задатки биолога.

Почему-то мы пошли не в лес, а к выжженному солнцем, почти бесплодному, холму. На вершине его вообще ничего не росло, кроме жгучего желтого «молодила». Склоны — как волосы окаймляют плешь — затянул корявый кустистый дубняк.

Некоторое время мы молча продирались сквозь его царящие ветки. Чего ради — непонятно.

— Глянь-ка сюда, — внезапно позвал меня дядя Вова. — Что ты видишь?

Я видела столбик роящихся над землей мошек — и больше ничего интересного.

Он снял рюкзак и достал из него складную лопатку.

— Сейчас посмотрим, на что нам указали...

Копнул раз-другой, и у него на ладони оказалось нечто бело-серое, ноздреватое и комковатое.

— Имею честь представить: белый трюфель! Деликатес! Я чувствовал, что они должны водиться в этом дубняке... Ну ка, еще смотри «поводырей»!

Мне было легче пролезать сквозь чащобу, и трюфелей я нашла больше дяди Вовы.

Когда мы уже решили, что с нас хватит, он указал мне на неприметную норку в песке:

— Давай подождем, авось хозяин объявится? Он — прелюбопытный!

Только мы расположились в жиdenькой тени дубняка, как на землю возле норки почти что шлепнулась нарядная черно-золотистая оса. Понятно, почему выбилась из сил: в лапках оса держала большую зеленую гусеницу.

— Ого! — удовлетворенно кивнул дядя Вова. — Березовый цимбекс! Хорошая охота была у сфеクса! А поскольку берез рядом не видать, тащил добычу издалека...

Запомни: сфекс — земляная оса. А цимбекс — не гусеница, личинка мухи. Она не убита осой, а только парализована. Сфекс сейчас отправит ее в норку и оставит там на прокормление своему потомству.

— Но ведь цимбексу больно будет! Он живой! — возмутилась я.

Дядя Вова пристально посмотрел на меня, но выражения его глаз я не видела: на стеклах пенсне отсвечивало солнце.

— А добыче всегда больно... Лучше ею не становиться! Но иногда иначе не получается...

Слова запомнились непонятными тогда.

Трюфели мы отнесли на дачу, приведя в восторг бабушку. Она очень долго возилась с ними, но пряный их вкус одобрили только взрослые.

Дальше зарядили дожди. День за днем низкое серое небо сочилось скверной осенней моросью — будто и не июнь на дворе.

Мои близкие от безделья читали вслух по-французски «Графа Монте-Кристо». Дядя Вова, накинув дождевик, бродил по кустам, вылавливая милых его сердцу перепончатокрылых. Я собирала обнаглевшие сыроечки и серые, которые высакивали чуть ли не у крыльца избы.

Вместе с дядей Вовой мы ходили по деревне — считать плешиных, чтобы дождь перестал. Но почему-то все встречные мужики оказывались владельцами буйных грив. Плешиевые остались в городе.

И все же дождь перестал. Выглянуло солнце и заиграло в несметном алмазном богатстве капель на ветках деревьев. От земли потянуло силенным навозным паром. Пчелы из хозяйственных ульев вылетели на работу.

Самое время было обещанному: найти и поймать гадюку. По сырости и холodu они не шибкие ходоки.

До сих пор горжусь: изгибистое серо-пестрое тело змеи возле бересового пня, хоть на полсекунды, раньше заметила я! Заметила — и обмерла от неведомого доселе страха. Он словно бы сковал меня.

А дядя Вова совсем неспешно наклонился, и змея оказалась у него в руках.

Впрочем, снулая, она не слишком и сопротивлялась.

— Успокойся, — сказал он мне, — и не стыдись своего страха. Люди всегда боятся змей, и страх этот не проходит никогда. Мы просто выучиваемся управлять собой.

Видишь? Я держу ее за основание головы, она бессильна.

Гадюка таращила мозаичные, пустые и блестящие, глаза, быстро, нервно шевелила языком и все норовила вырвать хвост из левой руки дяди Вовы.

Змея носила две одежки сразу. Сверху — нарядный серо-черный плащ с ковровым рисунком, внизу — голое, членистое, как у гусеницы, белесое исподнее.

Смотреть на нее теперь было скорее неприятно, чем страшно.

Подержав с минуту, дядя Вова отбросил гадюку подальше, и только трава прошелестела.

— Не думай, она не вернется. Змеи никогда не нападают на человека, если есть возможность уйти. У них своя жизнь и своя добыча.

Только когда дядя Вова отпустил гадюку, я увидела, что большой палец на его правой руке не гнется.

— А почему у тебя палец деревянный? — тут же поинтересовалась я.

— Это меня гюрза «поцеловала».

Понимаешь, какой-то недотепа словил двух гюрз, привез их в Ташкент, посадил в плохоный террариум и ушел из дома. Гюрзы — не наши гадюки, они большие, сильные и очень ядовитые.

Из террариума они выбрались и расположились по дому. Меня позвали, когда обе они оказались в комнате, где была куча детей.

В комнате полутемно, тесно, детишки визжат... Обе змеи разозлены до предела, некогда примериваться. Хватал обеими руками. С одной... чуть недохватил. Откачали, как видишь.

— А если опять укусят?

— Ужаят... Уже не страшно. Тому, кто выжил, второй укус не опасен. Чему и будем радоваться, как губернатор!

— Какой?

— Губернатор едет к тете. Нежны палевые брюки. Пристяжная на отлете выкаблучивает штуки!

В ход пошел Саша Черный, и я тут же забыла про змей. Многие годы спустя старик в Ленинграде рассказал мне, что

тогда, в Ташкенте, дядя Вова шел почти на верную смерть.

Обезумевшие от страха дети швыряли в гюрз тапками, метались по комнате и лишали ловца малейшей возможности поймать разъяренных гюрз без риска.

Он — рискнул.

С приездом дяди Вовы скучливость мою как рукой сняло. И, что интересно, тоже навсегда. Сегодня я могу тосковать, но никогда не скучаю...

Дядя Вова настолько пришелся мне по сердцу, что я даже готова была признать тощего перепончатокрылого «наездника» большим красавцем, чем праздничная бабочка «адмирал». Лишь бы угодить другу.

С дядей Вовой мы устроили «лягушачью спасательную станцию».

В центре Становщикового леса пряталась Староверская гора. В прошлые времена раскольники хоронили на ней своих усопших.

При нас от могил остались лишь плоские холмики, а на горе благоденствовал сосняк.

В бархатной низине под горою от тех же времен, в окружении черных елей, сохранился замшелый сруб над родником. Под елями пряталась тенелюбивая княженика, на лугу жили веселые рыжики, а в срубе маялись угодившие туда по дурости зеленые лягушки. Как ни загляни — уж одна-то непременно пляится на тебя глупыми золотистыми глазищами и, как ребенок, цепляется растопыренными пальцами передних лапок за скользкое бревно. Не удержится, плюхнется в воду и опять лезет вверх: родник ледяной.

Мы вылавливали бедолаг хворостиной. Удивительно, но ухватиться лапками за ветку ума у лягушек хватало! Память только была короткой: ясно, что валились в колодец, раз за разом, все те же наши знакомые.

Лес был на диво грибным и ягодным. Не водились в нем только груди. «Разногрибье» забегало на зады деревенских дворин.

А над Волгой цвел, дурманил медом неоглядный луг. Вот уж мы погонялись по нему за перепончатокрылыми!

Заодно я познакомилась со шмелями, бабочками и гордым существом «стаффиллин цезареус».

Но дядя Вова все-таки уехал, хоть мама и просила его остаться.

Очень я тогда горевала... Откуда мне было знать, что гнала его собственная несчастная любовь?

Есть на свете страшная порода женщин. Душа их вечно раскалена неутолимой жаждой наполнения чужой жизнен-

ной силой. Желанию их нет исполнения, нет и предела: пустыню не напоить водой из ладони... Цыганистая, капризно-губая Женя принадлежала именно к этой безнадежной породе. Перебирала худыми руками в спадающих браслетах гитарные струны, улыбалась зазывно и бесстыже.

В тесной комнатенке на Охте было сумеречно от табачного дыма, шумно от сменяющих друг друга гостей. И никто не приходил с пустыми руками, хотя прямо она ничего не просила.

Вероятно, Женя, музыкальная, обаятельная, умная, рождена была для лучшей доли и не с изначально пустым сердцем. Революция выжгла ей душу: отца расстреляли за участие в Кронштадтском мятеже. Саму ее вместе с матерью отправили на Соловки. Мать умерла вскоре. Когда и какой ценой вырвалась оттуда Женя — не знаю. Этого она дяде Вове, да и никому другому, не рассказывала.

Числилась Женя лаборанткой в институте, но жила за счет мужиков, чего и не скрывала. Главной ее дойной коровой стал бедный талантливый дядя Вова.

Моя мать, приехав в Ленинград, попыталась дать за него бой. Смогла лишь переманить на свою сторону некоторых поклонников вампирки — и только. Самонужного Женя не отдала.

* * *

Я заболела после дяди Вовиного отъезда. Очень странно: перестала спать. Ночами тихо лежала, слушая тырканье сверчка и провожая взглядом медленное скольжение лунного луча по дощатому, добела выскобленному, полу.

Мне не было ни скучно, ни тяжко: я мечтала. Включился неиссякаемый иллюзия моего воображения. Ярче, чем в жизни, я представляла возвращение дяди Вовы и новые наши походы и приключения.

Вместе с проснувшимся воображением внезапно пришло новое понимание поэзии.

Строки Надсона: «Полуночные призраки реют, сыплют искрами ярко в глаза...» — я знала с младенчества. Но они жили во мне просто звуком, а не смыслом.

И вдруг однажды ночью словно холодок по спине пробежал: в темном углу, куда не достигал зыбкий лунный свет, заклубилось нечто, не имеющее формы, пугающее и прекрасное одновременно. Перехватило дыхание от грозной силы

внезапно открывшегося смысла звучных слов: «призраки реют».

— Мама! Мама! Убери! Не хочу! — закричала я.

Взрослые сбежались, и никто не мог понять, что случилось.

Я махала руками, не находя слов, и захлебывалась слезами.

На другой день бабушка с дедушкой повезли меня в город к невропатологу...

Почему не мама? Сложный вопрос. Прожитые с тех пор мною полстолетия привели к убеждению, что одиноким женщинам не надо рожать ребенка «для себя», без отца. Тут два возможных исхода, и оба — печальны. Либо женщина, раз и навсегда отказавшись ради ребенка от поисков своей судьбы, становится рабой эгоистичного, взращенного ею чудовища. Либо, не отказывая себе в удовольствиях и любовных победах, она сиротит свое, и без того лишь с одной половиной души живущее, дитя. Здоровой душе ребенка равно необходимы и мать, и отец.

А если еще мать передоверила его воспитание, пусть умнейшим, но все же принадлежащим духовно прошлому, бабушке и дедушке, ребенку не вспрыгнуть на подножку ускоряющего ход поезда современности.

В его распоряжении окажется только бесплодный мир мечтаний, способный на годы вообще оторвать от жизни. И ничто в его судьбе не состоится, как должно.

Догадываюсь, что тем летом окончательно решались мамины отношения с моим отцом. Она не хотела кидать меня в жгучий омут своих страстей. Поэтому меня в городе отпивала бромом пунктуальная бабушка.

Наступила жара, и старый наш дом блаженно потрескивал, подставляя солнцу ревматические бока. Наконец-то просох и подвал, и «тетя Нюра подвальная» вытащила на солнцепек жалкий свой заплесневелый скарб. «Тетя Катя баняя» конопатила промерзающие зимой насквозь углы бани, отданной ей под жилье.

И все остальные жильцы проветривали и просушивали все, что можно. А потому не уходили со двора с утра до вечера.

Посредине его имелся сруб бывшего колодца, забитый досками. На срубе всегда заседала старушечья компания, «искавшаяся» ради удовольствия. В бывшем «скалозубовском» доме вши, кажется, не водились только в нашей семье.

Сонмище ребятишек всех возрастов с гиком и визгом носилось по вытоптанной «верблюжьей траве», лазало по крышам домов и сараев. Те, кто постарше, мотались между берегом Волги и домом, всякий раз таща на обратном пути

охапку корья, а коли повезет, то и «плашку» дров: запас на будущую зиму.

Самые маленькие хвастались друг другу «кусками»: у кого посахарен, у кого помаслен. Так проявлялось тщеславие их матерей.

Меня от этого шумного и пестрого мира отвлекал дед. Но в запомнившийся мне день дома его не оказалось.

Нелегко определить, какого рода отношения сложились у меня с бабушкой. Я ее боялась? Не совсем так. Скорее, в ее присутствии я испытывала тягостное неудобство и несвободу.

Угодить ей было невозможно.

— Не горбись. Не маши руками! Не гримасничай! Зачем оторвала длинную нитку? До Нерехты хватит! Кто так держит иголку?

Она не хотела понять, что мне очень трудно жить с моими красивыми, но беспомощными руками. Какая иголка и нитка? Я одевалась-то в садике всегда самой последней...

Еще: я не помню ни одного интересного сведения, полученного от бабушки. Она сообщала самонужнейшие бытовые вещи, но так занудно, что все ее слова пролетали мимо памяти.

В моих воспоминаниях она какая-то сплошь серая. Пепельные от седины волосы, болезненное серо-бледное лицо, выцветшие серые глаза, бескровные губы и серая же кофточка... Вижу ее за огромным обеденным столом, занятую раскладыванием бесконечного сложнейшего пасьянса. До меня ей, чаща всего, просто нет дела.

Утром дед куда-то ушел. Бабушка занялась «Могилой Наполеона», хотя с нашей, не по времени изукрашенной, мебели не мешало бы смахнуть пыль, а пол поднести. Меня к этим необходимейшим делам почему-то не подключали.

С тяжелой, пустой от брома, головой я стояла на балконе и с высоты второго этажа смотрела на уныло бурливший возле колодца бабий скандал. Дверь в комнату за моей спиной оставалась открытой. Я не заметила, когда и откуда проник в нее жалкий серо-белый котенок. По чердакам и закоулкам нашего дома испокон века бродили полудикие коты и кошки. Там же плодились и множились, а потомство их, естественно, стремилось в люди. Живности в нашей квартире не велось. Это год спустя дядя Вова привезет мне из Стalinабада террариум со злыми тарантулами и банку с понурым интеллигентным богомолом.

Из полудремы вывел меня крик, точнее вопль, бабушки.

— Забери его! Скорее! Скорее! Выброси с балкона!

Я всполохнулась испуганно, силясь понять, в чем дело? Ничего же страшного: просто котенок забрел к бабушке в столовую.

Она, бледная, глядела на пришельца с ужасом, все старалась загородиться стулом, но спинка вырывалась из трясущихся рук.

Крик ее, неистовый и страшный, ошеломил меня, лишил соображения: я схватила котенка и действительно бросила его с балкона! В ту же секунду, как, коротко пискнув, он полетел вниз, я сама замерла от ужаса перед содеянным. Ведь я же слышала, как отчаянно бьется у меня под рукой его сердчишко!

По счастью, котенок упал на крышу подъезда и не пострадал никак. Даже и не понял, поди, что с ним произошло.

Вернувшийся дед застал бабушку в обмороке, а меня в слезах.

Никогда в жизни я потом не встречала человека, который до такой степени боялся бы кошек, как моя бабушка.

Вполне возможно, что за этим скрывалось серьезное психическое заболевание. Не зря же она, имея приличное приданое, проневестилась чуть не до тридцати лет... Что пережил дед за годы жизни с нею, чего так и не нашел в жизни, от чего отказался? Никто уже не ответит на тревожные вопросы.

* * *

Детсадовские зимы сливаются у меня в памяти в один бессмысленно и скучно прожитый день. Скрашивали эту седину только музыкальные занятия. Но и тут разучивать песни про китайчонка Ли, который «ни разу не был в школе и двух слов не мог прочесть, только знал, что где-то Ленин у людей на свете есть», либо «споем о родном человеке, о Сталине песню споем» — мне не очень нравилось. Хотя объяснить, почему, я бы не могла.

Я смутно чувствовала: это — не пение, это — что-то вроде молитвы. Я помнила, как в Становщиково молилась хозяйка дома, многодетная баба. От распевного ее бормотанья нападала тоска.

А в детском саду все, наоборот, старались не петь — кричать как можно громче.

Не знаю и сейчас, кто внушил детям рабское подобострастие? Уж только не ласковая наша музыкальная руководительница... Это носилось в воздухе, пропитывало саму основу жизни.

Из всего, что нам читали воспитательницы, мне запомнилась только глава о Метелице из «Разгрома» Фадеева и поэтическая «Стель» Уйды.

Детские рассказы Льва Толстого, Куприна, Чехова, сказки, даже только что появившийся «Золотой ключик» — мне читал дед. Пока в пять лет я тихой сапой не выучилась читать сама.

Что оставалось в головах тех, у кого не было такого деда?

Но... если бы сегодня наши люди полетели на Марс, вряд ли кто ради этого сообщения бросил стирку и побежал в центр, на площадь, слушать радио.

А тогда, узнав о перелете Чкалова, бежали. Жилось людям немногим сытнее, чем в наши дни. Круглоголицая рассудительная Натоля хвасталась:

— А мы с мамкой чай с хлебом-солью пьем. Вкуснота!

Правда, по нашей окраинной улице с нелепым названием «имени Трудовой школы» ежедень проходило два стада: коровье и козье. Во всех дворах горланили петухи и хрюкали поросыта.

Тем не менее, в магазины обещанные молочные реки с кисельными берегами не текли.

Так почему же замордованная пьяницей-мужем «тетя Нюра подвальная» интересовалась:

— Как она тама, на льдине-то?

И еще одно: арестованные по наветам начали исчезать чуть ли не со дня моего рождения, но простой люд словно бы и не ведал того.

Увели ночью форсистого прозападного «спеца», отца Берточки Бударевой. И что? В куриной иерархии детского садика ее место тут же заняла толстая сонливая Гета Седова. Обиженная судьбой Берточка больше в садике не появлялась. О ней через день забыли.

Это сейчас пишут о темном ужасе ожидания ночного посещения. Возможно, так оно и было в Москве или других местах средоточия интеллигенции. В захолустной Костроме люди просто верили, что «дыма без огня» не бывает, и никто заранее беды для себя не ждал.

* * *

Следующее важное воспоминание полно белых пятен, которые сегодня уже не заполнить.

Все началось на сломе зимы в дни затяжной оттепели.

Сереньким утром дед провожал меня в детский сад. По мостовой, расшлепывая сапогами мокрый снег, шел взвод.

— Вон солдатики идут! — звонко поведала я миру.

— Не солдатики, а красноармейцы, — недовольно поправил дед.

В ту же минуту нас обогнал некто в длинном черном пальто и каракулевой шапке пирожком. Быстро на ходу оглянулся и словно сфотографировал наши лица прицельными водянистыми глазками.

Через день дед пошел в баню... и не вернулся. Бабушка запорошно металась по квартире, роняя вещи и немецкие слова. Я забилась от страха в любимый угол между шифоньером и стеной.

Полагаю, что мама была в отъезде: она зачастила в Ленинград к дяде Вове.

Ночь и половина следующего дня прошли в странном безвременье. Никто не отвел меня в детский сад и не заставлял есть нелюбимую манную кашу. Я нашла в нашем громоздком дубовом буфете хлеб и варенье, а в кофейнике — остывший кофе. До этого случая мне не доводилось есть что-либо, добытое собственной рукой. Я блаженствовала! А бабушка лежала в светелке на постели и дрожала так сильно, что позванивали шишечки на кровати.

Я волоком по полу притащила тяжелый, прозывавшийся у нас «буковинским», плед с дивана и накрыла ее им. Но колотун ее не отпускал.

Удивительно, но происходящее испугало меня ненадолго. Более того, свобода очень даже пришлась мне по вкусу!

Пепельный полузимний день угасал, когда к нам пожаловал незнакомый мужчина в военной форме. Крупное рябоватое его лицо почему-то мгновенно мне понравилось, и я исполнилась к нему доверия.

— Владимир Леонидович Гуссаковский здесь живет? — спросил гость.

— Это мой дедушка! — гордо сообщила я, без спроса открыв дверь.

От выпитого кофе голова моя слегка кружилась, но мир казался расширившимся и многообещающим.

— А взрослые-то есть кто — нет?

— Вон бабушка...

Он прошел за мной в светелку, глянул, качнул головой.

— Намаялась, спит. Бельишко-то дедово найдешь? Обокрали его в бане начисто.

— Я попробую...

Непонятливый человек помог мне собрать, что надо, сама бы я не справилась.

— Пойдем со мной, отнесешь. Не бойся, не обижу.

— А я и не боюсь. Пойдемте!

И мы отправились уже в полных сумерках куда-то в сторону центра города.

Мужчина шел быстро. Несмотря на природную прыть, я с трудом за ним поспевала. Не знаю, на какой улице мы в конце концов оказались.

Но на всю жизнь запомнила комнату, куда меня привели и где велели ждать деда.

Большая, с черным от копоти и сырой плесени потолком, она была перегорожена залосненным барьером. За ним — стол с бумагами, лампа и очень усталый, охрипший от ругани, молодой человек в форме.

На барьере висела боком пьяная баба с разбитой рожей. На одной босой ноге — валяный опорок, на другой — калоша. Она все время вытирала кровь рукавом кацавейки и скучлила:

— Убили... убили...

На полу в уголке на корточках притулилась пестрая цыганка. А на лавке, вжавшись друг в друга плечами, сидели двое вороватого вида мальчишек, изо всех сил старавшихся отстраниться от чугунного мрачного мужика.

Цыганка, увидев меня, бесшумно и легко, как кошка, встала и пошла ко мне, расплываясь в улыбке.

— Ой, какая красавица к нам пришла! Ой, какая шапочка на ней!

На мне был лиловый бархатный капрон, отороченный белым мехом муфлона — мамино изделие.

— На место! — скомандовал ей мимоходом мой провожатый.

Цыганка нехотя отступила, а он исчез за неприметной дверью.

На меня больше никто не обращал внимания, и я всеми порами впитывала в себя больные, отравленные образы незнакомой доселе жизни. Никогда прежде я не дышала табачно-винным перегаром, не ловила хитрых, ускользающих и боязливых взглядов. В этой комнате сами стены пропитала беда и черной слезой стекала с подоконника.

Дверь снова открылась, и я увидела деда в той одежде, что мы принесли. И того же человека. Дед сердито сокрушился:

— Ребенка-то зачем привели?

— Ну а как же иначе? Вещи ваши, не мои, должен ведь кто-то присмотреть, что все принесено? — рассудительно ответил рябой.

Дед махнул рукой и позвал меня:

— Идем отсюда! Как вы там обошлись-то без меня? Как бабушка?

— Бабушка все дрожала, я ее укрыла! А теперь она спит!
— беспечально сообщила я.

Мы пошли домой уже в полной темноте. Даже не знаю, существовало ли тогда уличное освещение? Что нашу улицу имени Трудовой школы им обделили — это точно. Но мне нравилось всматриваться в знакомые и одновременно чужие громады домов. Ночь лишила их очертания твердости и сделала неузнаваемыми. Улица стала шире, дома — выше, а в небе над ними, в узкой промоине среди облаков, благостно мерцали звезды.

Страх ко мне так и не пришел.

Что еще я знаю о происшедшем?

Деда действительно обокрали в бане. До самой смерти он жалел о неизносимых брюках из альпака, которые увяли воры...

Но из ближнего с баней и никогда не пустующего отделения милиции его в банной «разменной» рванине увезли в другое место. Оказалось, некто (тот, в шапке-пирожке?) донес, что опознал в деде белого офицера. Однако выяснилось, что речь шла не о гражданской, а о русско-японской войне. Да, наверное, опять встала за дедовыми плечами мученическая охранительная тень сына-комиссара...

Так или иначе, деда препроводили обратно в милицию, а за вещами послали «агента». Не ошибусь: доброго и честного человека. Знать бы, чем он кончил? Вряд ли хорошим... Не такие кадры ковала эпоха.

Чуть позже еще и арест отца коснулся нас скорым и поверхностным ночным обыском.

Незамысловатая книжка его, что сейчас лежит передо мною, спаслась у меня в постели. Ребенка тревожить не стали, да и вообще искали нeliхо. «Конфисковали», вероятно, на память бабушкин золотой браслет с рубинами. На том и успокоились.

Больше с главным и вездесущим учреждением того времени наша семья дела не имела.

* * *

А из-под этого камня выбилась и потекла через всю мою жизнь река неисполненных желаний.

Зима и весна борются из последних сил. То зима захлестнет стекла мокрым снегом, то весна развесит по карнизу ве-

селую канитель сосулек.

И у мамы настроение под стать погоде: в иной день на нее не угодишь, и я — Ольга; в другой — она с утра, поливая цветы на окнах, напевает арию Миньон, и тогда я — Тотошка. Поет мама так красиво, что сердце замирает от трогательной мелодии.

В светлый день, когда на помощь весне и сосулькам прилетели грачи, мама сказала:

— Пора цветы пересаживать. Поедем сегодня за землей. В садик можешь не ходить.

— Ура! — я запрыгала от радости.

Ехать за землей — это целый поход через весь город, в конец улицы Шагова. Но мне чем дальше, тем лучше! И я никогда не бывала до этого в теплице, а там — цветы!

Мама не могла не заразить меня цветоводством: слишком была велика сила ее собственного невостребованного таланта.

Кто-то, не умея читать, рассматривал картинки в книжках сказок, а я — в «Комнатном цветоводстве» Гейсдорфера, книге мудрой и забавной благодаря вставкам ее переводчики. Жили на тех рисунках цветы, очень мне нравившиеся: страшноцвет, розы. Нейтральные: все кактусы. И неприятные, даже пугающие: бромелиевые и алоэ.

Но попасть в теплицу! Я начала поскорее одеваться: вдруг мама передумает? Хотя и знала, что она не меняет решений.

И вот мы вдвоем везем санки с двумя ведрами и корзинкой (на случай цветочной покупки).

Весна одолела-таки зиму. Небо, в прогалах облаков, глубокое и синее. Солнечные лучи счистили с него линялую зимнюю белизну. Санки то и дело дергаются, споткнувшись о вытаявший навоз. Провожая нас, на старых березах орут грачи. И, возможно, недоумевают: деревья целы, а где же церковь, что стояла в их кольце? Куча щебня... Успели снести за зиму храм, где меня крестили. Но я лишь краем глаза замечаю перемену. Меня больше занимает, что у кого на окнах растет и цветет. Богатство невелико: розовые колокольцы амариллисов на высоких стрелах да кое-где ранние шапки гераней либо их родственниц-pellargonий.

Мама вспоминает: вот в этом окне «прежде» жили орхидеи, а в том непременно по весне стояли вазоны с выгнанными ландышами и нарциссами. Еще дальше всегда в эту пору зацвела камелия.

Революция и цветов не пощадила...

Не помню, как мы прошли весь неблизкий путь. Скат с

пологой горы — и вот они, теплицы горзеленхоза. Не одна, их много...

Влажный теплый воздух, напоенный землей и зеленью, показался мне райским благоуханием, хотя в нем явственно присутствовал и навоз.

Под стеклянной мелкоячеистой крышей переливался липовый шелк примул, начинали распускаться ромашки цинеарий непредсказуемого оттенка, клонились от изысканной слабости бутоны роз — все мои давние знакомые.

Но прямо передо мной, всего на одном стеллаже, клубился нежнейший сиренево-розовый туман над плошками невысокого мелколистного кустарника.

Звездчатые цветы его были нежны и непрочны, как морозный узор на стекле! Темные округлые листы зябко прятались в белой шерстке. Не видела я такого цветка у Гейдорфера!

— Понтайская азалия... — буднично сказала мама. — И как хорошо выгонка удалась!

Она заговорила о чем-то с подошедшим стариком-садовником. Я не слышала ни слова. В голове проносилось: «Понтайская... Понт Эвксинский... Язон... золотое руно... Медея... в саду волшебницы цвели азалии...»

Я глаз не могла отвести от чуда. И, конечно же, просительно тронула маму за руку:

— Мам, мы купим азалию?

— Ну что ты! Ей не выжить и дня в нашем дыму. Азалии очень требовательны к воздуху и свету, — без видимого сожаления ответила мама.

Никогда до этой минуты я не задумывалась: хороша или не очень наша квартира?

В «скалозубовском» и соседнем «москвинском» доме она считалась лучшей. Натоля говорила мне:

— Вы, баре, в трех комнатах телитесь, а мы с мамкой в одной живем!

— Зато твоя мамка в партии! — не без тайного ехидства напоминала я.

— Да что в партии-то? — сомневалась Натоля. — В партию приняли, а никуда не выбирают, говорят, малограммотная. Все равно жизни нет! У вас хоть квартира...

И вот — плохое оно, оказывается, наше жилье!

— Мама, а если на окно в светелке? Там солнце...

— А розы куда? Сама же черенки принесла... Да и рамы там негодные, азалия от сквозняка тут же листья сбросит.

Ну вот: и рамы у нас «негодные»! Внезапное горькое открытие обессиилило меня, я даже присела на перевернутую

корзину в угол теплицы. И тут же получила:

— Ты что это раскислилась? Вставай! Нам ведь санки-то с землей в гору везти.

А я и не заметила, когда в ведра успели насыпать землю. Корзинка осталась пустой.

Каким неодолимо высоким показался мне уличный въезд... Когда мы уходили из теплицы, я не оглянулась. Чувствовала: увижу еще раз зыбкий сиренево-розовый разлив цветов и не смогу уйти — прикует ноги сила неисполненного желания.

И, конечно же, не понимала, что впервые сумела свое желание смирить, чем и обрекла себя на вечное поражение в жизненной борьбе... Побеждает лишь тот, чье желание — закон.

Тянулся вверх бесконечный, обтаявший до булыжника, подъем. Скряжетали по нему потерявшие ход полозья тяжелых санок. Я изо всех сил подталкивала их сзади, но размышиля о нашем доме.

Изнеженная красота цветов осветила, как фонарем, его действительное убожество.

Солнце заглядывало к нам только в окно холодной светлки. Окна двух других комнат слепо щурились, отвыкнув от света. Его заслонял неодолимый краснокирпичный брандмауэр.

Высокая железная печка «унтермарковка» быстро накалилась, но с той же скоростью и расставалась с теплом. В сильные морозы углы куржавели от инея. Печурка в светелке тоже грела мало, а дымила сильно. На углах вечно плачущих подоконников висели бутылки с тряпичными фитильками.

Ничего похожего я не видела в садике, где всегда хватало тепла и света, но...

— Мама, — неуверенно поинтересовалась я, — а может быть в квартире, как у нас в садике?

Она поняла:

— Конечно, может! А ты хотела бы в такой квартире жить?

— Спрашиваешь! — ответила я по-дворовому.

Мама осуждающе покачала головой.

— Опять наслушалась Натоли! Так не говорят. Нужно ответить простым подтверждением. Что же до квартиры, то, может быть, жизнь твоя скоро и переменится. Подожди!

В другое время я, ничем внешне того не проявляя, внутренне извелась бы от любопытства: что за странное обещание?

Но в тот день я словно бы и не услышала сказанного:

меня покинула сила желания, а с ней и любознательность.

Даже единственная в году пересадка цветов, и та уже ничего радостного не обещала. Пусть мама сама возится с капризным кактусом «Царица ночи». Все равно он в нашей жалкой темной квартире никогда не зацветет.

...Сейчас у меня, на диво соседкам, среди зимы распустились маxровые, как розы, пестрые соцветия индийской азалии. Это мое приобретение и мой успех. Но как далеко ее, словно из пластмассы отлитым, розанам до бестелесной прелести немахровых звездочек азалии понтийской... В замене одного на другое — сама жизнь. Лишь недостижимое счастье никогда не надоедает и не теряет щемящей сердце красоты. Достигнутое, осозаемое — крикливо, выставочно и грубо.

* * *

Дядя Вова приехал внезапно, когда первая зелень осияла березы. Он подарил мне небольшой террариум, перегороженный стеклом надвое. В каждом отделении сидело по красноглазому, в мясничьих черных волосах, пауку-тарантулу. В высокой банке в бесконечном вежливом поклоне замер рукастый богомол, похожий на скрипача Чижевского.

Мама поинтересовалась:

— А почему тебе было не привезти пару кобр и варанчика среднего размера? Очень милые жители...

— Пусть интересуется насекомыми, — ответил верный себе дядя Вова.

Кроме того, он привез невиданные мною прежде тоненькие колбаски под названием «сосиски». При укусе они стреляли белым соком. И коробку конфет с красивым и почему-то печальным названием «Шантеклер».

Моя жизнь забурлила. В первый же теплый и светлый вечер мы отправились за Костромку, где в луговых старицах кишила водяная живность.

Косые лучи солнца просвечивали до dna чайно-коричневую воду. По устилавшей дно жухлой траве тащились ручейники в панцирях из песка и тех же травинок. Шныряли головастики, за ними гонялся златокайменный жук-плавунец. Сама по себе гуляла изгибистая черная личинка муhi-львинки. А вот нужный нам тритон не попадался! В утешение слювили того самого плавунца: пусть не отправляет головастикам жизнь.

Большого черно-желтого тритона дядя Вова высмотрел-таки среди корней сусака. Я бы ни за что его там не увидела: корни темные, пятна падающего на воду света — желтые. Попробуй-ка угадать, где среди неверного мерцания света и тьмы прячется водяная ящерица?

Да и поймать хитреца смог только дядя Вова, от меня бы ушел... А вот почему дядя Вова не посмотрел, куда я добычу посадила — не знаю. Надо полагать, отвлек его какой-нибудь перепончатокрылый летун. Я же спокойно отправила тритона в банку с каемчатым плавунцом. Когда мы пришли домой, обнаружилось, что жук шныряет вверх-вниз, очень довольный жизнью, а выпотрошенный тритон плавает кверху оранжевым брюхом. То-то горя было!

Впрочем, и среднеазиатские дары дяди Вовы у меня не зажились. Я, конечно же, не утерпела и подняла стекло, разделявшее свирепых тарантулов. Только брызги да мохнатые лапы полетели! С тех пор я наглядно представляю, что означает расхожее — «пауки в банке».

А изящный богомол тихо угас под нашим, для него негреющим, солнцем. Его я очень жалела.

Что дядя Вова приехал не ради меня, я поняла быстро. Уже не дедушка, а он страстно спорил о чем-то с мамой. Но французского языка я не понимала по-прежнему.

Уехал дядя Вова так же внезапно, как и появился.

А еще через несколько дней к нам вместе с мамой пришел высокий худой человек с пристальным, словно бы впитывающим, взглядом серых глаз и густой щеткой полуседых усов над нервным ртом. Кабы не этот неуверенный подрагивающий рот и не больная желтизна лица, его можно было бы назвать даже красивым: стати хватало.

— Знакомься, — не своим, гораздо более низким, голосом сказала мама. — Это Николай Андреевич. Он будет моим мужем, а тебе — отцом, и мы станем жить вместе.

Отцом? Я не знала, нужен ли мне отец? В детском садике у многих отцов не было, и как-то обходилось. Хлесткое словцо «безотцовщина» жило только на нашем, скандальном и нищем, дворе.

Николай Андреевич натянуто улыбнулся.

— Мы подружимся с тобой, Олеся, ведь так?

В глуховатом его голосе я почувствовала льстивость, но не нашла ни капли тепла. Более того, мгновенно и бесповоротно я поняла: этот человек меня не любит, я даже чем-то ему мешаю.

— Нет, я не буду с вами дружить, вы — злой! — безapel-

ляционно заявила я, решив про себя, что сказанного вполне достаточно.

Наступила неловкая пауза, которую разрядила бабушка, позвавшая нас пить чай.

Возле своей чашки, на блюдечке, я обнаружила блестящую маленькую морковку и огурчик, словно бы вылепленные из пластилина.

— Попробуй, это марципан! — предложила мама.

Я надкусила огурчик и тут же положила его обратно.

— Не хочу! Марципан противный!

Лакомство мне и на самом деле не пришлось по вкусу. Кроме того, я поняла: принес его Николай Андреевич.

С этой минуты я объявила войну человеку, который на самом деле без мамы жить не мог, но которому, по этой же причине, было немило все, что отвлекало ее от него.

Он нисколько не был виноват в собственнической своей страсти. Так же, как и я — в отрицании его фальшивой доброжелательности.

Обшим результатом случившегося оказалось то, что мама переехала к Николаю Андреевичу в ту самую квартиру, где не дымили печи, не промерзали углы и не текло с окон, а я осталась с бабушкой и дедушкой в прежних аварийных хоромах.

Сколько я ни читала о подобных случаях, всегда описывались тяжелейшие переживания осиротевшего при живой матери ребенка.

Не могу принять это на свой счет: дед всей мощью огромной души заслонил меня от беды. Теперь мы принадлежали друг другу и почти никому больше.

Я привыкла, как к собственным, к его смешным приговоркам. Если я начинала выводить его из терпения, надо мною звучал металл латыни: «Квоус цветандем, Катилина, абутере пациентиум нострум?» И я знала: надо подчиниться, иначе дед вспылит не на шутку. Если мы опаздывали в садик, что случалось нередко, он непременно приговаривал: «Бискаристо баспишу!» Это — воспоминание об итальянской примадонне, решившей спеть партию Вани в «Жизни за царя» по-русски. А коли сморожу глупость, он скажет: «Дон Сазан де Базар!» Я уже знала: на заре своей театральной карьеры так доложила о приходе героя драмы Гюго моя прабабка. Часто он повторял: «Все это было когда-то, только не помню когда...» Или, при виде очереди: «У приказных ворот собирался народ густо...»

Все его присловия, саму манеру речи — неожиданно метафоричной — я несла в детский садик и там вгоняла воспи-

тательнице в грусть-тоску. Она не могла понять, что из этих странных слов говорить «можно», а что «нельзя»?

Нет, днем я не скучала по матери. Она тревожила меня в снах. Часто я просыпалась от слез, не помня и не понимая, что произошло.

Мне не возбранялось посещать маму, когда захочу, но я не злоупотребляла этим правом.

Цветы мама перевезла к себе, и через полгода на просторных подоконниках ее нового жилья цвел и даже плодоносил райский сад. Мама где-то добыла деревца привитых лимонов и мандаринов, они вскоре изукрасились гирляндами желтых и оранжевых плодиков.

Я ходила к маме в гости, возилась с ласковой рыжей собачкой Игрушкой, оставшейся от прежних жильцов. С замирающим сердцем упивалась музыкой, приносимой неслыханным мною прежде радио.

Но никогда не оставалась там надолго. Что-то в самом воздухе светлой и теплой квартиры давило на сердце и поскорее гнало на улицу.

* * *

В нашем бедном, многоплодном доме новорожденные не переводились. В какую квартиру ни зайди, болтается в углу зыбка, а в ней захлебывается в безответном крике красный сморщеный младенец. Равнодушной рукой сунет ему соску бабка, хитрюющая сестренка качнет зыбку раз-другой — да и сбежит во двор.

Отец и мать где-то строят светлое будущее. То ли на лесопилке по колено в воде, то ли на ткацкой фабрике, задыхаясь от въедливой столетней пыли. Вернется мать — сунет потную титьку, коли молоко не перегорело. Выживет непрощенный гость — ладно. Нет — сколотит ему невеликую домовину умелец Тягунов, и, сквозь слезы, вздохнет семья с облегчением.

Со своим братом, Андреем, я познакомилась выужным февралем по возвращении из садика. Он лежал в широкой корзине, заменяющей люльку, и спал. Никогда я не видела такого белого и благостно спокойного дитяти. Я даже тихо-хонько коснулась пальцем его щеки: настоящий ли? Он не проснулся, только моргнул сквозь сон. Мама приехала из роддома с Андреем к нам, потому что помнила муку мученическую со мною и рассчитывала на помощь бабушки.

Но Андрей своим здоровьем и спокойствием настолько мало требовал сил, что она скоро перебралась с ним обратно к мужу.

Как я отнеслась к появлению брата? Трудно сказать. Он выглядел для меня принадлежностью той новой маминой жизни, где мне не находилось места. Поэтому я много-то о нем и не думала...

Тем паче, что меня опять водили к невропатологу и по-или бромом: дед впервые в жизни взял меня в кино. И не на детскую сказку, а на взрослый жестокий фильм «Александр Невский». Почему? Сейчас я понимаю: он чувствовал, что жить ему остается немного, и хотел, не глядя на возраст, приобщить меня ко всему, что считал ценным. Иногда попадал в цель, как с чтением Карамзина, иногда ошибался, как с непереносимо жутким фильмом Эйзенштейна, но он все равно успел сделать мою душу зрячей.

Потихоньку я и сама почитывала. Выбор, конечно, тоже был диковатым. Сначала «Легенды о Христе» Сельмы Лагерлеф, потом роман Гюго «Ган Исландец», а дальше я, видимо, у кого-то во дворе добыла повесть Фраермана «Шпион». Книгу с таким названием, да еще советского автора, мои близкие никогда бы мне не купили.

Но привлек-то меня в ней не довольно глупый детективный сюжет, а завораживающий мир приморской тайги. Светлое Японское море, в котором корейский мальчик Ти Суеви вместе с отцом ловил серебристую рыбку — иваси.

Черные пихты. Голубые ирисы в прибрежной тайге. Я воочию видела их таежную синью красоту. Когда спустя много лет встретилась с ними, подлинными, нисколько не удивилась, что они именно такие и есть: муарово-синий треножник на гордом стебле.

* * *

Летом мама предприняла последнюю попытку соединить несоединимое: мне сказали, что я вместе с ней и маленьким Андреем поеду в сельцо Манылово, где живут родители Николая Андреевича. Меня, прежде всего, озадачило: мы отправляемся в гости к сельскому попу.

Все годы, пока не снесли ближнюю церковь, вдоль заборов нашей улицы кротко семенил старичок с длинными серо-серыми волосами, падавшими на заношенный ворот ряски. Скорее всего, дьякон.

Уличной ребятне это было без разницы. Завидев его, вся шарага устремлялась следом, вопя:

— Гром гремит, земля тряется! Поп на курице несется!

Само собой, не отставала и я, благо голос достался звонкий. Однажды меня из стаи за ухо выудила дедова сердитая рука.

— Не смей издеваться над старостью!

— Так это же поп! — простодушно попыталась я оправдаться.

— Ну, так что же? Разве он не человек?

— Не знаю... Попы жадные! — искала я себе защиты.

— И это не имеет значения. Он — старик. Травить егостыдно.

Вот и все, что я услышала тогда. Ни слова о христианстве, о высоком долге служения Богу.

Иконы с ободранными серебряными окладами валялись у нас в чулане. Божье имя не упоминалось ни всуе, ни во благости. Его просто не существовало в обиходе семьи. Меня не выучили ни одной молитве.

Я знала, что такое Ветхий и Новый завет. Однако мне точно так же был ведом и смысл других мировых религий. Христос для меня не оказывался значимее Будды или Аллаха.

И вот — я еду к самому настоящему попу! Смешно и немногого страшно почему-то.

Я только много лет спустя поняла, что мама всегда хотела видеть во мне то, чего у меня не имелось.

В данном случае меня решили сделать ангелом, несмотря на ободранные на чердаках и деревьях локти и коленки.

Об астрологии я и не слыхивала. Лженауки дед презирал. Поэтому понятия не имела, что родилась под знаком Обезьяны. А знала бы, так не удивлялась своей опасной страсти к любой высоте. Конек ли углой крыши, шаткая ли вершина старой бересозы — все едино. На память о тех обезьяньях подвигах осталась мне сегодня травма позвоночника. Но мама жила не со мною и, может быть, даже не знала, где меня носит нелегкая.

Из куска белого пика мама сшила платьице и сама же изукала его вышитыми розовыми гирляндами. В таком наряде только и оставалось идти, щепотно ступая и держась за ручку. Светлые легкие мои волосы стянули огромный пунцовый бант.

Очень жаль, что меня не догадались тогда сфотографировать! Воображаю, как чужеродно вся эта помпезность выглядела рядом с выражением моего отнюдь не ангельского лица.

Сойдя с парохода, мы пошли сыпучим песком прибрежного пляжа. Не прошли и нескольких шагов, как прямо под ногами я увидела сизо-лиловую витую окаменелую раковину.

— Мам, я аммонит нашла! — сообщила я радостно.

— Ничего странного, — безразлично ответила мама. — Здесь выходят юрские пески, и окаменелости попадаются часто.

Ох, не ко времени сказала! Я тут же сломя голову помчалась вдоль берега, как гончая собака. Успела, пока меня не остановила мама, усмотреть еще и «чертов палец» — белемнит. Но тут получила шлепка, заревела со злости и, в виде протеста, содрала с головы бант.

Так, в отнюдь не ангельском чине, и прибыла в просторный дом отца Андрея Писемского.

Сельцо Манылово невеликостью и небогатостью скорее напоминало деревню.

Раскинулось оно на вершине испаханного до бесплодия холма. Про земли тут говорили «супесь вертячая» и не ждали от них доброго урожая. Жили огородами, скотиной да близостью городского базара.

У подножия горушки клубился и кустился сорный болотистый лесок, и застрыла в берегах почти непроточная речушка.

Дом отца Андрея почти не отличался от обычной избы. Чуть пошире, посветлее окна, показистее мебель. В «зале» безголосая фисгармония и роскошный красный гибискус, сплошь в цвету. Но рядом, в летней горнице, наседка с цыплятами. Объяснили: «В сарае нельзя держать, хори всех передушат...»

В кухне беленая русская печь с полатями. На припечке здоровенный серополосатый котяра с ханжески постной мордой. Ну совсем одинаковое выражение, что и у его сдобненькой хозяйки. Сам же отец Андрей — человек неприметный, средний. Не высок, не низок, неопределенно стар. Губы ниточкой, а взгляда не поймать: серо-голубые глазки почти всегда опущены долу, будто бы важнее всего ему смотреть на свои же руки.

Встретили нас преувеличенно шумно и радостно. Позвали к столу с бесконечными извинениями: «У нас по летнему времени просто».

Матушка принесла большую миску «холодного»: кусочки подсущенного черного хлеба, мелко крошенные огурцы и тертый с солью лук, залитые темным домашним квасом. Следом появилась миска густой простоквани, серые подовые лепешки и — специально для нас — самовар и мед.

Мне очень понравилось, как отец Андрей маслил «холодное». Держа ложку над миской, он тонюсенькой струйкой лил на нее постное масло, выделявая губами странный прищепывающий звук: «Пт-пт-пт...» Нацедил ровно две ложки и

успокоенно убрал бутылку — не перелил ни капли!

Ну разве не жадный поп? Я удовлетворенно улыбнулась.

Раскапризничался Андрейка. Женщины решили, что ему «в дороге головку напекло», мама понесла его в другую комнату.

Я осталась на попечении девочки-подростка, что как-то незаметно заняла место за общим столом.

Угловатая, некрасивая, но с завидной косой и добрыми ореховыми глазами. Звали ее Леной.

Я поняла, что она имеет какое-то отношение к моему отчиму и что ей поручено меня «пасти».

Но мне не по душе пришлись ее навязчивая услужливость и опекунство. Не нравился и дух ханжеского прибеднения за столом.

— Уж вы не обессудьте, лепешки-то у нас серые, мужицкие, не городские булки! — оправдывалась хозяйка, а ведь знала, поди, что постриженки ее — вкуснятина.

— Ты лепешку-то медом намажь, не жалей, свой ведь... — уговаривала меня Лена, но себе меда не брала.

Захотелось поскорее оказаться на воле.

Я наскоро поблагодарила хозяев, вышла на крыльце и оглянулась. Близко, в двух шагах, присадистая белая, как чайка на гнезде, церковь. Вокруг нее на погосте единственны в сельце большие деревья: березы, липы и одна разлапистая ель.

А вниз под угор дорожка к лесу. Я по ней и покатила. Лена догнала меня и взяла за руку, чего я терпеть не могла. Руку я освободила, но избавиться от провожатой не сумела.

— Не лезь в кусты! Платье выzelениши!

А как не лезть, если там целые заросли дикого бальзамина, что прозвывается «не тронь меня»? Коснешься пальцем его стручка — так и выстрелит семенами!

— Ой, змея! Бежим скорее отсюда!

Какая змея? Безобидный уж в желтых очках... Поймала бы, да руки об него неохота пачкать: от испуга уж покрываются вонючей слизью. Все это известно мне давно.

Через стоячую, темную от болотного железа речушку кто-то перекинул мосток из двух плах.

— Не ходи на мостище! Упадешь!

Ну, коли так — на же тебе! Я с маxу плюхнулась в воду, по колено провалившись в дымное облако ила.

Когда плачущая Лена вытащила меня обратно на мостки, даже и я поняла: парадное мое платье погибло навеки.

Огорчило это не меня — маму. Я даже удивилась, до какой степени... Вероятно, жалела она не платье и свой труд, а

рухнувшую легенду о пай-девочке, которая должна поведением возместить то, что ей недодала природа.

Незавидная участь: родиться дочерью признанной красавицы. Природа никогда не поднимает планку на одну и ту же высоту: дочь либо краше, либо плоше матери.

С младенчества я слышала, если случалось идти с мамой по улице, ехидно-сожалеющее:

— Да, Валя, дочка-то не в тебя задалась!

И никогда моя мама не пыталась что-либо возразить говорящему эти, убийственные для меня, слова.

Более того, дома мне внушалось:

— Самое смешное, когда некрасивая женщина воображает, что она хороша собой!

Жилось с клеймом дурнушки рядом с красавицей матерью мне очень нелегко. И чем дальше — тем больше.

Много лет спустя, мне, взрослой, один очень умный человек сказал:

— В сущности, ты — красавица. Только деревенская. Не твоя бы голова, вышла бы замуж за тракториста и была бы счастливей многих. Гордился бы мужик-то такой телкой!

В этих словах и заключается вся двойственность моего существования, вся обреченность судьбы. Не дурнушкой я родилась, а птицей из отцовского гнезда. Да вот беда: способности и притязания у меня оказались не деревенскими.

И никакое воспитание исправить тут не могло ничего. Во всяком случае, то, какое выпало на мою долю...

Впрочем, негармоничность в моей внешности тоже присутствовала. По иронии судьбы мне достались дедовы красивые руки, за которые его в гимназии звали «графом».

В юности руки эти убивали мое простенькое милое лицо. В детстве же барская «безрукость» еще и отравляла жизнь.

* * *

...Мне не слишком сладко спалось на матраце, набитом сеном. Встала я рано и вышла в кухню. Выяснилось, однако, что дом давно проснулся.

Матушка процеживала парное молоко, а отец Андрей собирался куда-то, надев рясу.

Вывернулась из-за печки Лена и с таинственным видом поманила меня пальцем.

— Ты крещеная? — спросила она тихо.

— Крещеная, меня бабушка крестила, — кивнула я с уверенностью.

— А крестик у тебя есть?

— Есть. Только дома. Это игрушка такая... — озадаченно ответила я.

Серебряный католический крестик со светлыми аметистами дед нашел на военных дорогах Польши. Привез домой, как дополнение к другим памятным, недорогим трофеям прошлых войн.

Мне разрешали играть им точно так же, как японской лаковой коробочкой или бабушкиным китайским веером.

— Это не игрушка! Крестик носят! — поправила меня Лена сердито и тут же огорчила: — Иди в церковь брата крестить.

У меня душа ушла в пятки: мама ничего не говорила о крестинах. И где она сама? Уже в церкви?

Несколько неуверенно я вышла во двор. На узкой тропке, что прямо со двора стремилась к церкви, не видно ни души.

Меня догнала Лена, успевшая повязать голову белым платочком. Такой же протянула мне.

— Накрайся! Грех с непокрытой-то головой в храм входить.

Еще и в «храм»!.. Но платок я повязала беспрекословно. Томило ощущение близкого присутствия неведомой силы, которой нельзя не подчиниться.

Вместе с Леной мы вошли в пустой гулкий придел. Почему-то я ждала, что увижу в церкви толпу молящихся. Как на картинках из «Нивы»... Но там только причт хлопотал возле облезлой купели, да стояла незнакомая дородная женщина с Андрейкой на руках. Он не плакал, но беспокойно вертел снежно-белой головенкой. Увидев меня, потянулся ручками.

Женщина спросила:

— Удержишь?

Я молча кивнула и с усилием взяла братишку — плотного и тяжеленького. Обычную мою болтливость как рукой сняло. Ведь я никогда прежде не бывала в церкви!

Истомно пахло ладаном, пристально смотрели со всех сторон темные византийские глаза старых намоленных икон. Казался недостижимо высоким купол с белым голубем в перекрестье солнечных лучей, и чуть слышно доносились с воли вереск стрижей и шлепанье пароходных плиц на Волге.

Сама не знаю: нравилось мне в церкви или нет? Она и успокаивала, и давила.

Пока я разбиралась со своими ощущениями, отец Андрей взял у меня братишку. Его трижды опустили в купель,

приговаривая малопонятные слова. Он хотел было зареветь, но передумал. Все кончилось. В общем, я ожидала чего-то более таинственного. Андрейка поехал домой на моих руках, а Лена сказала:

— Теперь ты ему — крестная мать.

Я не успела осознать серьезности сказанного: увидела маму. Она с каменным лицом быстро шла навстречу. Только зеленые глаза сверкали так, что обжечься можно. Андрейку она у меня взяла, но, верная правилам семьи, отношений со взрослыми при мне выяснять не стала. Нам с Леной велено было идти гулять. Платок с моей головы мама сердито сдернула.

Я пошла на берег искать окаменелости, Лена потянулась за мной, как «верная личарда».

Выше полосы наката волн навис крутой глинистый обрыв, затянутый ежевикой и мать-и-мачехой. Тропинка сбегала с него зигзагом. На повороте в глаз мне, словно соринка, попал и исчез лучик света. Я взгляделась и поняла, что блестит что-то возле седого листа мать-и-мачехи. Добралась и выцарапала из глины камешек с гнездышком горного хрустала. В музее видела похожую друзу... И, поди ж ты, сама нашла!

Я начисто забыла про крестины. Когда мы, напрасно облавлив весь берег и ободрав руки о колючую ежевику в поисках второго чуда, вернулись домой, оказалось, что мама с Андрейкой уехала в город. Меня же, по неведомой мне до сих пор причине, оставила в Манылове.

* * *

Внезапный отъезд мамы больше расстроил добрую чувствительную Лену, чем меня. Я-то к маминым исчезновениям успела привыкнуть.

Зато теперь я могла присмотреться к новой для меня жизни.

Буквально через день-два я поняла, что цедит отец Андрей маслице в «холодное» по капле не потому, что так уж скуч. Оно — покупное. А кормится семья не от церкви: от коровы да с огорода.

К внутренней поле «дорожной» ряски отца Андрея, в которой ходил он с требами по окрестным деревням, матушка пришила поместительный карман. Найдется по дороге гвоздь либо ремешок — в хозяйстве сгодится. Корка хлеба

— и то курам в мешанку пойдет. А нет ничего более путного — так хоть горсть зеленых гороховых стручков с колхозного поля.

Лена — одна из многих внучек отца Андрея — исправно полола огород. Занятие это и мне пришлось по душе, видно, сказалась отцовская кровь...

А может, помогло то, что уж сорняки-то я все знала поименно и ни с чем спутать не могла. Нежные ростки благородных овощей выглядели так беззащитно рядом с явной нахальностью пырея или мяты, что невольно хотелось им помочь.

Сельчане к отцу Андрею относились двояко. Старые люди кланялись, подходили под благословение. Молодые глупо задирались:

— Привет долгогривому! Сколько из божьей канцелярии накапало?

А «капали»-то гроши, слезно вымollenные старухами «на церкву» у безбожников-детей. И сейчас вижу узловатые стружечки пальцы, отсчитывающие гривенники «на помин усопших».

Однажды, когда только отец Андрей вернулся от заутрени, в дом ввалился ражий полупульянный мужик в галифе.

— Ну, поп, собирайся! Твоя взяла! Задурил ты матери голову царством небесным! Не хочет без исповеди помирать! А того в ум не берет, что ячейке нашей от ее леригии — позор!

Обвел кухню прилипчивым недобрый взглядом. Не знаю, что увидел, но скривился:

— Ишь! Жирком оброс, служитель божий! Ладно, ужо посмотрим!

И, к моему удивлению, отец Андрей беспрекословно подчинился. Они ушли.

— Зачем он пошел с ним? Почему этот человек нахальничает? — возмутилась я.

— Милая, это же председатель сельсовета! Как не пойти-то? — объяснила матушка Евдокия. — Не пойди за ним, а он напишет в область, церкву-то и закроют. Нельзя! Покорствовать надо.

С этого момента я поняла, что отец Андрей — человек очень зависимый. А значит — несчастный.

Дед внушал мне:

— Всегда оставайся сама собой. Не подстраивайся ни под кого. Зависимость — несчастье. Отсюда дорога в рабство.

Слова звучали красиво, но не слишком убедительно.

Теперь я узнала, какой ногой ступают на эту безнадежно сумеречную дорогу.

Мое появление в церкви не пресекалось, но и не поощрялось.

Зайдя туда раза два и видя все тех же немногих старух, я потеряла к ней интерес. А вот на кладбище ходить мне нравилось — место привычное.

В давние времена кто-то посадил на могиле гесперис-но-чецветку. Она расселилась по всему погосту, и в сумерках непрятательное сельское кладбище благоухало изысканно и нежно. Мне легко, вольно дышалось среди большей частью забытых гробниц. Тут обихаживали, и то неподолгу, только могилы недавние, а через пару лет отдавали их во власть травы и бузины.

Мои кладбищенские прогулки не давали покоя умам сельских мальчишек, а мне-то было и невдомек. Я их делами и личностями не интересовалась.

Вскоре после похорон верующей матери председателя сельсовета ко мне подошел белоголовый с кирпичным лицом парнишка.

— Эй, городская! А слабо тебе ночью с могилы эту саблю принести?

«Сабля» его, конечно же, была обструганной щепкой...

— Ничего не слабо! — пожала я плечами. — Ты вот днем-то ее не струсь положить!

Слух о моем согласии, надо полагать, прокатился по всей маныловской ребятне мгновенно. Меня всюду провожали недоверчиво боязливые взгляды, но никто больше со мной не заговаривал.

После полудня на кладбище, с разных сторон, чтобы не привлечь внимания взрослых, просочилось шесть доверенных лиц. Я пришла отдельно от них, мне не от кого было прятаться.

Белобрысый с некоторой торжественностью доложил:

— Видишь? Я положил саблю на бабки Манину могилу. И все мы будем вона там, за овином, ждать. Мы увидим, как пойдешь-то!

Я отвечать ему ничего не стала: сказала ведь, что не боюсь.

Ночи в конце июня короткие, воробышные, в беззвучном просверке далеких зарниц. Даже рябую курицу-летунью, ночющую на ветле, и то видно, как днем.

Я тихо выскользнула с террасы, где мы спали с Леной, и пошла к кладбищу.

«Некрофильское» дедово воспитание на всю жизнь избавило меня от страха перед внешними проявлениями смер-

ти. Что мне кладбище? Там покой, сладко пахнет ночецветка, и шумят деревья.

Уже несколько дней держалась утомительная жара. К полуночи она спала, и с Волги потянул свежий ветерок. Облегченно залопотали листья на кладбищенских липах. Из-под горы с болота доносился бесконечный недоуменный вопрос сплюшки: «Сплю? Сплю?» Ближе, среди лип, похояхтывал съч. Кто-то, неузнаваемый по голосу, вдруг протянул спросонья: «Ка-аак? Ка-аак?» Я даже и не заметила, когда минута кладбищенские ворота. Шла и слушала мирные голоса ночи.

Недавняя могила белела издали. Я подошла, взяла «саблю» и уже хотела убраться восвояси, как вдруг заметила, что в церкви слабо мерцает свет. Я замерла. То первоначальное двойственное отношение к храму, которое возникло на крестинах Андрейки, вернулось вновь и неожиданно сковало страхом. Я не боялась ничего в природе, но церковь мое воображение мигом насытила призраками «Вия».

И все-таки я взяла себя в руки и пошла вперед к чуть приоткрытой церковной двери. Нечто глубинное, мощное приказали не отступать и не бояться.

Первое познание счастливой способности не терять головы в минуту неведомой опасности...

Сердчишко билось отчаянно, но я бесшумно просочилась в дверную щель и заглянула в храм.

При свете единственной зыбкой свечи там сокрушенno молился отец Андрей. Что оплакивал, какой просил милости у Бога — не знаю. Я мгновенно поняла, что трогать его в эту минуту нельзя, что я должна исчезнуть как можно тише и скорее. Сбивчивый, скорбный старицкий шепот заглушил для меня ласковые голоса ночи.

Обратно я бежала. Не от страха — от нестерпимой жалости неведомо к кому. Даже не к старому затравленному попу, а к чему-то большему и неохватному.

Саблю я просто швырнула в кусты, не сворачивая к овину, и было мне совершенно безразлично, найдут или нет ее там мальчишки.

А утром за мной приехал дедушка и сказал, что мы все снова едем в Становщиково.

О моем внезапном отъезде от души пожалела только привязчивая добрая Лена. Для поповского дома я была песчинкой в раковине: тихо ему мешала.

* * *

Последнее становщиково лето выдалось опасно грозовым. Мы и приехали в грозу, промокнув до нитки.

Околицу минали под яркой радугой и сразу заметили колготню возле недостроенной избы. Бабы подывали: «Ой, батюшки! Ой, страшно! Ой, да чего же это делается-то!» Мужики толклись растерянно и беспорядочно. Кто-то предложил: «В землю бы ее закопать, может, отутовеет...» Другой голос отмахнулся безнадежно: «Чего там в землю? Закопают... Не видишь — почернела вся?» На мокрой траве, раскинув руки, лежала баба с чугунно-черным, страшным лицом. Возле рассыпана лоснисто-розовая молодая картошка. Женщину убила молния.

С этого и началось наше дачное житье.

На фотографии того времени — слишком яркая для обыденности женщина. Блестят глаза, белые зубы в улыбке, даже плавные изгибы локонов отражают свет. Она — ослепительно хороша. Затертое определение здесь вполне к месту.

Бледная худенькая девочка с русой скобкой густых волос и суровым взглядом — наилучший фон для материнского сияния. Толстощекий беленький, как молочный поросеночек, малыш очень мил, и ничего более.

Приехали в Становщиково четверо: мама, я, Андрейка и первая из его будущих семи няньек. Смешная деревенская девчонка, желавшая, чтобы ее звали не Настей, а Нелей.

Днем она накручивала на бумажки свои густущие, но совершенно прямые волосы, а вечером удирала на «козулиху» к околице. Но «городские» локоны и краденые мамины духи, увы, не помогали: с ухажерами Неле не везло.

Андрейкой она занималась мало, но неустанно следила за каждым моим шагом. То и дело слышалось: «Тина Динна, а она опять на крышу полезла! Тина Динна, а она к ульям пошла!»

У Нели во рту была каша, и правильно произнести «Валентина Владимировна» она не могла.

Удивительно, но годы спустя я встретила ее в роли профсоюзной деятельницы. Каши во рту не убавилось, но это обстоятельство ничуть не мешало ее самоуверенной убежденности в своей правоте.

Подозреваю, что она немало дров наломала в чужих судьбах.

Мама видела от нее не помощь, а маесту. Но терпела. Властная, умевшая смириТЬ одним взглядом самый хулиганистый класс, она начисто была лишена бабушкиного дара командовать прислугой.

Не зря же дед называл скоморошью череду наших нянек: «Семь чудес света».

Что касается ульев, Неля донесла верно: они очень меня влекли.

Восемь зеленых домиков стояли вдоль полевого конца дворинки. Древний дед Тихон — истовый старовер — колдовал над ними с дымарем. При нем подходить к ульям я не смела, боялась его сурового ветхозаветного взгляда.

Без него — хлебом не корми... Я следила за работой пчел и никаких их не боялась. Пчелы ползали по мне, взлетали, садились вновь, но ни разу не ужалили. Дядя Вова правильно сказал: «Пчелы кидаются не на человека, а на запах страха».

Однажды утром при мне из крайнего улья вытек черной струйкой рой. Я побежала за ним, приметила, что пчелы сели на березу за баней, и рискнула доложить о том старику. Думала, выругает, а он дал мне кусок медовых сот, и я увидела, что глаза у него вовсе не злые. Усталые только...

Рой дед Тихон сбрязнул водой с веника и ссыпал, как орехи, в мешок: мокрые пчелы взлететь не могут.

После этого Неля напрасно доносila, что «она опять к ульям пошла», дед Тихон меня не гонял, а, наоборот, давал подержать то дымарь, то рамку. Как уж это сочеталось с его староверской замкнутостью — не ведаю.

Мне же все труднее жилось на улице. Именно этим летом меня потянуло в шумное, проказливое ребячье стадо.

У одних наших хозяев подрастало семеро сорванцов. Да и городские дачники навезли ораву детворы.

Но ни среди городских, ни среди деревенских мне не находилось места!

Я могла заставить слушать. Бог наделил даром красноречия и емкой памятью. На бревнах за околицей я властновала.

Знакомые сюжеты услышанных или прочитанных книг в моем пересказе обрастили новыми подробностями, разрасстались, а иной раз служили лишь исходным толчком для собственного моего воображения.

Уже тогда я могла наяву видеть цветные сны, словно мне

досталась не одна жизнь, а две.

Но стоило замолчать — легковерная стая разбегалась и уходила в свой, для меня запретный, мир.

Неподъемный воз преждевременных знаний, в который с младенчества запрягла меня семья, обрек на детское одиночество.

По счастью, в этой пустоте наконец-то возникла мама.

С Николаем Андреевичем она тем летом разошлась.

Судить сейчас, кто и в чем там был виноват, я не могу.

Дело в том, что у него имелась куча родни и четыре дочери от первого брака. Ветвистая многоплодная эта семья корнями уходила в род тех Писемских, что дали России знаменитого писателя.

Весь клан, отнюдь до этого не дружный, объединился в ненависти к матери — «красивой чертовке».

Бесполезно было доказывать, что она и не думала кого-то «уводить», что Николай Андреевич, работавший с ней в одной школе, буквально не давал ей прохода... Маму все время пытались обвинить в хитрой корысти и неверности, разжигая ревность больного человека: у Николая Андреевича был туберкулез легких, обострившийся от переживаний.

В дикую безумную минуту он запер маму в квартире на втором этаже и ушел. Она — сильная и ловкая — вылезла в окно и, забрав сына, вернулась к родителям.

Без выяснения отношений, но бесповоротно.

Поэтому и на даче мы оказались одни. Бабушка прихвачивала, и старики решили не покидать городской квартиры.

Николай Андреевич навещал нас чуть не ежедневно. Но к нашему дому нельзя было подойти незаметно. Поэтому, завидев на опушке леса его унылую долговязую фигуру, мама оставляла Андрейку с няней и уходила со мной куда глаза глядят.

Иногда они глядели в сторону убогих полей «плодово-ягодного» совхоза в Лежневе.

Диковинное там велось хозяйство. На огромных просторах, обычно картофельных в этих местах, полей тянулись боровки с ржавыми листьями чахлой клубники. Ягодки на ней мало отличались по величине от лесных. Лучшие, к тому же, выбирали шелковые от сытости сороки и галки. Дальше тянулись куртины столь же жалкой смородины и крыжовника. Зелененькие тощие ягодки последнего я почему-то называла «гномиками». Одно хорошо: за мизерную мзду разрешали набрать чего и сколько угодно. Что уж это было

за предприятие и кто с него кормился — Бог знает...

А коли не в Лежнево, то шли мы в дальний Симаковский лес.

С маминой помощью я взглянула на мир глазами ботаника, а не энтомолога.

В провожавшей нас небогатой ржи, кроме васильков и золотарника, изредка мелькали лиловые изящные стаканчики куколя.

Уцелел ли он сегодня хоть где-нибудь?

А в Симаковском лесу нас поджидал потаенный мир лесных орхидей и голубых персиколистных колокольчиков.

Кадильные свечи «любок», сиреневый «ятрышник», кокетливо испестренные «кукушкины слезки» и — тайна из тайн — маленькая розовая «калипсо».

Сейчас, из дальнего далека, я спрашиваю: «Господи, зачем ты показал мне этот лес?!» Неужели для того, чтобы сегодня, потеряв всех близких, я горевала неутешно еще и над этой потерей, обходя задущенные глухим васильком, лютиком и одуванчиком былье лесные уроцища?

В те времена нас встречала освежающая тень старых елей. Над несожнущей зеленою лужей кружились бабочки. Один раз мелькнула даже царственная бледная тень махаона. Обычно над зацветшей водой хороводились веселые крапивницы, элегические траурницы, спесивые адмиралы и белянки-простушки. Из-под елей выглядывали лесной сиреневый журавельник, прозрачный майник и стыдливая заячья капуста.

Ельник постепенно сменяли березы, а за ними ждало цветущее половодье «Гадючей поляны».

Я и сейчас не могу сказать, почему в деревне, испокон века жившей лесом, были так сильны некоторые суеверья?

В том же Становщиково и стар и млад пребывали в убеждении, что ужи и гадюки могут катиться, свернувшись колесом, а самая страшная из змей — медяница.

Дивную земляничную гарь прозвали «Гадючей поляной» и боялись туда ходить только потому, что там, и верно, мелькали изредка безногие ящерицы-веретенницы. Иначе — медяницы... Жили они в окрестных могучих муравейниках и никому вреда не чинили.

Мы собирали переспелую землянику наперегонки с молодыми глупыми рябчиками и тетерками. Они не очень от нас убегали: чувствовали, верно, что сборщики ягод мы аховые.

Мама видела не ягоды — цветы.

Один раз показала мне возле кочки крошечное растеньице с голубым глазком цветка.

— Посмотри: вот норичник. Родоначальник семейства.

Я была разочарована: почему гораздо более красивые незабудки должны состоять в подчинении у этой малой мадости?

Еще я огорчилась тем, что папоротник никогда не цветет и с его помощью не найти клада...

Не могу больше вспоминать Симаковский лес! Потому что вижу задымленные корпуса завода цементных плит, похоронившие под собой его многоцветную красу.

Странно, мама не требовала каких-то подтверждений моей к ней любви. Сама никогда меня не ласкала: погладит по голове, улыбнется светло — праздник. Но только возле нее таял душивший меня исподволь панцирь старческого всезнайства.

Я бегала, дурачилась... Называла желтые ястребинки «алафлюзиками», а кудрявые соцветья картофеля «локончиками». Мне одного не хотелось: возвращаться домой. Потому что там мама сейчас же займется Андрейкой.

* * *

Чуткая змея ревности нашупала путь и в мою душу. Впрочем, я понимала, что сам-то Андрейка, толстенький, деловитый и ласковый, — вовсе ни в чем не виноват.

В нем постепенно росло подчиняющее обаяние. Сухая богомольная хозяйка дома говорила: «Божье дитя!» Про него, а не про свою семерку. Я становилась на четвереньки, и он ездил на мне верхом. Мы вместе лепили из песка куличи, и у него они выходили лучше, чем у меня. А то просто возились на полу, визжа по-щеняччи, пока это не надоедало маме.

— Ну, всю пыль собрали, или еще где осталась? — спрашивала она с притворной сердитостью и брала Андрейку на руки.

И тут на меня «находило»: я начинала кувыркаться, прыгать по постелям и смеяться, как дурочка, до тех пор, пока не получала хорошего шлепка. У моей ревности было очень глупое лицо.

В памятный день четвертого августа с утра собирались,

да никак не могла набрать силы, гроза. «Волга тучу непускает», — говорили деревенские.

Река сердито набегала на песок беляками, по стрежню, словно по хребту, легла темная полоса. Лиловая туча на другом берегу напрасно сверкала зарницами, пугала громом: Волга ее не боялась.

Николай Андреевич появился рано утром — с парохода. Уж не знаю, о чем они толковали с мамой на веранде, но когда вышли во двор, лицо его мало чем отличалось от заречной тучи.

Мама же велела мне очень спокойно:

— Сходи с Николаем Андреевичем в город и возьми у него мои тетради. Переношуешь дома, а днем дедушка проводит тебя до Пантусова.

Сходить в город за семь километров мне ничего не стоило: мы только вещи на дачу привозили, а сами всегда ходили пешком. По дороге меня подстерегала опасность. В Пантусове держали много гусей, которые все без разбора меня ненавидели.

В течение моей жизни это единственные мои враги в животном мире...

Мы с Николаем Андреевичем пустились в путь все в той же грозовой неопределенности. Лес притих: ни птиц, ни бабочек. Заячья капуста и мои любимые ястребинки решили на всякий случай не просыпаться: сокнули лепестки.

Мы шли молча. Я впереди. Николаю Андреевичу, конечно же, было не до меня — думал свою думу.

Возле Староверской горки из непроглядной еловой чащи неожиданно выско�нула старая цыганка. Шла босиком, легко и бесшумно. Некогда красивое лицо съели глубокие черные морщины.

— Золотой! Дай погадаю, всю правду скажу, я — сербиянка! — заученно обратилась она к Николаю Андреевичу.

Он только брезгливо плечом дернул, стараясь ее обойти. Я, конечно, уставилась на встречную во все глаза и потому заметила, что лицо ее вдруг потемнело, словно тень от облака накрыла его на секунду.

Совсем иным, непритворным, голосом она проговорила:

— Не хочешь, барин, гадать? Я так скажу и денег не возьму. Плохо тебе сейчас, яхонтовый, очень плохо! Но четвертого октября ты успокоишься...

Напрочила — и пошла своей дорогой. Легко и при-

емисто, только пыльная лоскутная юбка охлестывала задубелые ноги.

Над Староверской горкой застыло диковинное облако, похожее на клок нечесаной бараньей шерсти.

Мне показалось, что Николай Андреевич хотел ее остановить, но меня, что ли, постеснялся — передумал.

Без дальнейших приключений мы пришли в город.

Сначала на набережную — в квартиру Николая Андреевича. Во дворе навстречу нам кинулась рыжая Игрушка — отошавшая, в лохмах. Николай Андреевич молча оттолкнул ее ногой.

В окно высунулось паточно-сладкое лицо соседки Сони.

— Вот, кормлю собаку-то вашу, а за что? За спасибо?

Николай Андреевич даже не взглянул на нее.

По двум его комнатам словно ураган прошелся: все перевернуто, разбросано. Но ураган давний — пыль на вещах слоями. А на окне засохшие мандариновые и лимонные деревца тянут вверх колючие безлистные ветви.

Тетрадки, однако, нашлись довольно скоро, и я постаралась с ними побыстрее убраться восвояси.

* * *

Наша квартира показалась мне тоже очень пыльной, да еще и душной. И в этой духоте почти не смолкал тихий надсадный кашель бабушки.

Дед не встретил меня любимой прибауткой: «Прибыли в землю мы сильных, не знающих правды, циклопов...» Он выглядел постаревшим и осунувшимся.

Бабушка сидела в кресле возле туалетного столика и, открыв ящик, перебирала запретные для меня прелести: пожелтевший веночек из флердоранжа, букетик фиалок из синели, блеклые кружева.

— Это ты, Саша? — спросила она слабым голосом. Я замерла на пороге, мгновенно поняв непоправимое: зовет она своего погибшего сына, а меня не видит!

Дед вовремя погладил меня по голове.

— Не бойся! У нас бывают и лучшие дни. Тогда она всех узнает.

— Видишь ли, — предупредил он мой вопрос, — за пос-

леднее время слишком много наших старых знакомых... исчезло.

Он сморщился в непривычном поиске понятного мне слова. Не нашел и сказал прямо:

— Их объявили врагами народа. Я уверен: по ошибке и ненадолго. Но у бабушки давно больные нервы, а тут люди, которых знаешь полжизни... Например, Устьянцевы...

— Устьянцевых арестовали? Они — враги народа? А «Карабах» где? — на одном дыхании выпалила я.

— «Карабаха», полагаю, ты больше не увидишь, — грустно кивнул дед.

Он принес из кухни сковороду с полусгоревшей, к тому же горькой, свиной печенкой.

— Я тут решил кулинарить, но... моя кульпа, получилось горько! Впрочем, еще молоко есть...

Из любви к деду я съела кусок печенки и запила его подкисшим молоком с хлебом. Ничего плохого со мной от этого не произошло.

Бабушка, по-прежнему покашливая, перебирала туалетный «брюк’о’брак». Даже не глядя, я знаю, что она вынула хрустальное яичко в золотом ободке: флакон из-под духов «ля въерж фоль». Дразнящий весенний аромат разлился по всей квартире.

Я взяла с полки первое, что попалось под руку. Уселись рядом с дедом на продавленный «турецкий» диван. Он, как и до нашего отъезда в Становщиково, читал в подлиннике «Дон Кихота».

Однако нам обоим книги на ум не шли.

— Мне не терпелось рассказать про цыганку и еще доложить, что все мамины цветы на «той» квартире погибли. Николай Андреевич их не поливал. У деда тоже были свои соображения.

Он первым отложил серебристый томик Сервантеса — в том издании было их десять.

— Очень бы я не хотел, — проговорил дед западающим в душу голосом, — чтобы на твой век пришлась еще одна революция. Но боюсь, что предназначенному не избежать. Система слишком активно уничтожает вынесенный катаклизмом плодоносный слой.

Процесс и шире и глубже, чем во Франции девяносто третьего года... Разве что новая глобальная война его остановит? Вряд ли...

Я понимала: дед рассуждает сам с собой, но слова, как

камни, падали на дно памяти, чтобы оставаться там навсегда.

— Так что ты хотела мне рассказать? — спросил он, как будто я обращалась к нему до этого.

Я сбивчиво, не так, как обычно, поведала ему о предсказании вешуньи.

Дед критически приподнял брови.

— Четвертого октября? Далековато... можно называть срок безбоязненно. И как отнесся к сказанному «Эн.А.»?

— По-моему, хорошо, — ответила я. — Он даже гусака прогнал с дороги, когда мы Пантусовским лугом шли...

— А... Действительно, это признак доброго настроения. Что ж, «блажен, кто верует. Легко тому на свете...» Однако, хоть зловредный гусак и бысть повержен ниц сегодня, хворостину завтра мы припасем заранее!

Я призадумалась, но потом сказала:

— Нет, дедушка, я обойду Пантусово лугом. Ты меня не провожай. Ты с бабушкой побудь.

Дед несколько раз молча кивнул головой, и мне показалось, что на его глазах блестят слезы.

— Будь по-твоему! Да, — спохватился он, — на балконе «ниццкий» левкой расцвел, можешь полюбоваться!

Рассаду левкоев мама принесла весной из того же зеленхоза. Показала на одно растеньице с особенными сизыми листьями.

— Это будет «ниццкий» левкой. Когда-то я получала такие семена от «Иммера и Мейера». Сегодня у нас семеноводства нет, все случайно.

Я вышла на балкон. В ящике расцвело несколько долговязых немахровых левкоев малинового цвета и один невысокий с крупными кремовыми розочками цветов. Он показался мне чудом аристократизма на фоне своих простонародных собратьев. Как напоминание о чем-то прекрасном, ушедшем навсегда. Как пожелтевшие от времени листы каталогов «Иммера и Мейера» с небывало красивыми и крупными овощами и сплошь махровыми левкоями многих сортов.

* * *

Утром я, конечно же, сэкономила пятнашку на мороженое и пробралась на паром зайцем. Знала: на том берегу Волги возле самого причала стоит мороженщица со сладкими

тающими колесиками, где на вафлях написаны имена. Всякие встречаются. Только не мое. Но мороженое от этого не кажется менее сладким.

С собой я унесла несколько кусков хлеба с солью для лошадей на пароме — ведь это они, большие, помогали мне, маленькой, проскочить незаметно! Можно всю дорогу гладить благодарные лошадиные морды и слышать на ладонях прикосновения осторожных теплых губ.

Паром — огромную плоскую баржу — таскал через Волгу задышливый пароходик. Шли медленно, хватало времени и по сторонам посмотреть.

Вот нас обогнал катерок с надутым перекормленным начальничком в белой фуражке. Очень близко, плеща на нас волной, проходит прогулочный красавец-пароход «Историк Покровский». На его палубе — загорелые нарядные люди из высшего, недоступного мира. А вот шатается на волне из стороны в сторону большая лодка-завозня, полная пьяных мужиков и баб с детьми: с одного берега на другой догуливать плавятся...

Когда завозня перевернулась — я не заметила, занятая лошадьми. Просто я услышала бабий визг и увидела, что люди плещутся возле окатистого смоляного днища лодки в напрасной надежде ухватиться за него руками.

Начальничек на катере прибавил скорости и рванул к ближайшему берегу. Троє мужиков с парома, поскидав сапоги, подбадривая себя матом, ухнули в воду и погребли саженками к тонущим.

Я видела одно: дальше всех от нас барахтается в воде молодая баба с девочкой вроде нашего Андрейки. Она не умеет плавать, ее слепят распустившиеся косы, но неведомо как, вздывая буруны пены, она бьется и поднимает над водой ребенка... Нашим мужикам до нее не дамахать.

И тут с капитанского мостика парохода по немыслимо высокой дуге полетел в воду человек в белом кителе. Нырнул глубоко, без всплеска, и вынырнул точно возле тонущих. Успел в последнюю секунду. Женщину он вытащил за волосы из смертной волны. С застопорившегося парохода очень быстро спустили шлюпку и подобрали всех троих. Длинное суровое лицо этого человека я запомнила.

А мужики в воде разобрались сами. Наши спасатели поволокли еще троих баб, свои тоже, надо полагать, протрезвели и кого-то подхватили. Десятки рук потянулись с парома им навстречу. Обошлось.

Когда паром причалил к берегу, о случившемся почти и не говорили. В те времена неукрощенная Волга забирала жизни сотнями, особенно по осени и весне.

Я купила мороженое с именем «Вера» и отправилась своей дорогой, поглядывая, не выбросила ли Волга чего интересного?

Прошлой весной, когда мы с дедом ловили головастиков возле Березовой рощи, а потом бродили по мокрому тугому песку, я нашла серебряную сережку с блекло-голубым глазком бирюзы.

В этот раз ничего стоящего не нашлось.

Я шла по испестренному, как мелом, несобранными шампиньонами Пантусовскому лугу и опасливо оглядывалась: вдруг гуси придут? Но гусям было не до меня: они скатились в устье речки Ключевки, где во множестве жили ракушки-перловицы.

Немаятные километры пути сами ложились под ноги.

Вот затканная цветами железнодорожная насыпь. Почему-то именно на ней ромашки, колокольчики и гвоздика достигали садовой величины и красоты.

Я шла и громко распевала:

— Лоулита! Лоулита! Дензж!

Слова эти ровно ничего не значили, но в них жили звуки, а они-то последнее время очень меня интересовали. Не ведая того, я искала входа в мир поэзии.

Я нарочно сталкивала неожиданные, несозвучные сочетания, проверяла, что может и что отказывается жить рядом. Глазастые ромашки прыскали от смеха, пушистый желтый подмаренник тихо трясясь, роняя пыльцу, а мамины любимицы, перистые гвоздики, стыдливо отворачивались. Какую дичь приходится слышать в мире, где звучат только пчелы и жуки!

Невольно я их послушалась и замолчала.

Меня встречали первые выбежавшие на луговину ели Становщикового леса. И голоса птиц. Тоненько прозвонил малютка-королек, и лишь чуть громче его — «киу!» — позвал птенцов ястреб-тетеревятник. Приютила их одна и та же развесистая ель. Только у ястреба дом-веранда с видом на Волгу, а корольково жилье одна я и могу найти. Дальше в березняке дурачится иволга: то разольется трелью, то драной кошкой заорет, не поймешь, что пророчит: вёдро или ненастье? Славят лето сотни голосов единого лесного хора.

Выходя к Староверской горке, я заоглядывалась: не по-

явится ли давешняя цыганка? Безлюдно темнела еловая чаща, пожелтел до времени выжженный склон горы. Единственная сосенка зацепилась как-то за него и тянула не вверх, а в стороны корявые ветви. И возле нее я увидела синий цветок.

Чем-то он напоминал «ниццкий» левкой, только немыслимо черно-синие его цветы были не меньше розы, и хотя я стояла очень далеко, меня опахнуло дурманной волной аромата.

В ушах тонко, предупреждающее зазвенело: сейчас все кончится! Я же знала... И все-таки бросилась бежать вверх по склону. Что-то кричало во мне: «Коснись! Только коснись цветка! Это счастье!»

Он исчез на половине моего пути. Я подошла к сосне. Без всякой надежды заглянула под нее и обнаружила там червивое семейство маслят. Села на похрустывающую траву не в силах отделаться от ощущения горькой потери. Но чего?

Встала и уже медленно побрела к дому. Маме я решила о цветке не говорить: мои «фантазии» ее всегда очень сердили. Я чувствовала: из Становщикова мы уедем навсегда, лес прощался со мною.

* * *

Город из всех невеликих сил поспешал в заманчивое социалистическое будущее.

Незаселенный гранитный постамент памятника трехсотлетию Дома Романовых занял скороспелый гипсовый Ленин с рукой, простертой в неведомые дали. Дед по этому поводу невесело цитировал Жуковского: «Обрубок мертвца нагого, следов не видно остального».

Рядом с памятником поднялась вышка для парашютных прыжков. Лихие ухажеры со значками Осоавиахима, частенько заемными, летели с вышками, как с волжского обрыва. Девицы поощрительно визжали. Карманные воришки добычливо шныряли в толпе зевак. Увлечение парашютизмом не вышло из моды и после того, как, хотя и не в Костроме, но насмерть, разбилась знатная наша парашютистка Ната Бабушкина.

Полагаю, что энтузиазм подогревался и наконец-то наступившей сравнительно сытой жизнью.

Натоля и остальные ребята с черным куском во двор не выходили: только ситный, а то и ломоть духмяного горчичного, да еще с сахаром. По выходным та же Натоля хвасталась материным печевом — витушками со смешным названием «кушули».

В пропойной семье сапожника Кипяткова у каждого из шести мальчишек появились собственные штаны — «великое достижение социализма», по мнению деда.

От забытой съестности чесались руки у городского актива. В центре снесли краснокирпичную Александровскую часовню и на ее месте силами женщин города, разбили детский парк, достаточно странный.

Все, что делалось тогда, носило характер внешне грандиозный, а по сути пустяшный, временный. Посреди парка возвели чуть ли не античных пропорций павильон. Только вместо мрамора — из жидкой еловой шелевки. Пол в нем от ребячей беготни прогибался, как гамак.

Еще пошла в городе мода сажать что ни попадя, не сообразуясь с климатом. Ясное дело, в Костроме ведать не ведали, что сам Сталин пестует лимонные деревца на подмосковной даче, считая, что при социализме невозможного нет.

Отсвет мудрых садоводческих деяний вождя пал и на наше счастливое детство: кустики лоха, подаренные Костроме детьми Сочи, высадили вокруг того самого павильона.

Округло густые, с седыми опущенными листочками, они, сознавая гибель неминучую первой же зимой, зацвели по осени. В пазухах листьев раскрылись невзрачные желтые соцветия: глянешь — не запомнишь. Но аромат от них согрел душу и почему-то соединился у меня с любимыми словами арии Миньон: «Знаешь ли ты страну, где все блеск и краса, где среди мирт и роз померанцы желтеют...» Не знаю, благоухает ли мирта, но терпкий запах меда с лимоном лох оставил в памяти навсегда.

В первую же зиму сквозные аркады павильона растрепал волжский ветер, и оторванные доски отправились по прямому назначению: в обывательские печи. Что осталось, по весне разобрали, а круглую плещь посреди парка засыпали песком.

В том же парке устроили асфальтовый пятак для катания на прокатных педальных автомобильчиках. Дело в Костроме невиданное.

С утра до вечера грудились на пятаке алчущие мамаши

и бабушки со чады. Смех немногих счастливцев заглушался обиженным ревом недождавшихся очереди. Кажется, именно тогда появился в нашем, прежде отнюдь не воинственном, городе тип беспощадной завоевательницы жизненных благ. От страха перед раскулачиванием бежали в город самые сильные и сноровистые. Это в былые времена деревня поставляла городу ленивый отсев, теперь она расставалась со своим будущим.

Бабья очередь на вожделенном прокатном пятачке кипела неистовыми страстями. Ума не приложу, чего ради деду вздумалось выстоять ее?

Так или иначе, ошеломленная чужим писком и визгом, я оказалась в облупленном красном автомобильчике. Увы, короткие мои ноги не доставали до педалей!

Дед толкнул автомобильчик, желая мне помочь. Появилось острое ощущение машинной, неподвластной мне, хитрой и злой жизни. К тому же, осатанелые глаза очередников готовы были выбросить меня, неумеху, прямо на откос Молочной горы.

Невеселое вышло катание... Больше никогда в жизни я не становилась в очередь за развлечением. Безусловно, потеряла много возможностей, потому что в нашей стране очередь — основа бытия. Но я и через годы никуда не могла уйти от детского давящего воспоминания: рвущиеся из-под ног педали и жгучий дождь чужих, завистливых и презирающих, взглядов.

Осень подошла ласковая, словно бы сулившая второе лето. Обманутые ее теплом, зацвели похожие на махровый шиповник парковые розы «Царица Севера», и боярышник выбросил белые розетки соцветий. Мы бродили с дедом в Посадском лесу, выискивая поздние маслята. Я умудрилась найти даже тройку запоздалых белых. В разнолесье, полном неумолчного шороха листвы, скрипа еловых лап и тихих клестовых посвистов, было хорошо.

Неладное творилось дома. Бабушка так и не поправилась.

Вечер накануне ее отправки в больницу запомнился мне навсегда. Я пришла из садика голодная и злая: на ужин дали помидорный салат и крупянную запеканку, а я не ела ни то, ни другое. Помидоры в нашей семье любила одна бабушка, и мы с дедом ходили за ними к огороднику Хмунину. Рядом с голубыми кудреватыми астрами помидоры выглядели очень красиво, но от их пряного запаха меня тошило...

Нацелившись выклянчить «чего-нибудь вкусненького», я заглянула на кухню.

Вечерний косой луч солнца играл на мыльно-радужных осколках венецианской вазочки, усеявших кухонный стол. Вазочку эту я очень любила. По весне в ней всегда стояли ландыши. Бабушка, с прямым невидящим взглядом выцвевших до тряпичной голубизны глаз, что-то усердно толкla в медной сахарной ступке.

— Бабушка, это что? — спросила я, чувствуя неладное.

Она не обернулась. Пестик стучал все так же деловито и ровно. Не глядя на меня, бабушка, слепо пошарив по столу, ухватила осколок вазочки и бросила его в ступку.

Я опрометью вылетела из кухни, готовая звать на помощь кого угодно.

В дверях, запыхавшись от трудной быстрой ходьбы, стоял дед. Я кинулась к нему, прижалась к боку, спрятала голову под рукой.

— Успокойся! — сказал он мне требовательно.

И я поняла, что капризничать не время.

Когда приехали люди в белых халатах, я оказалась у соседки, внезапно пригласившей меня на чай с сухариками. Я только из окна видела машину, окруженную дворовыми зеваками, и толком не поняла ее назначения. Нянька съязвила: «К психам увезли!»

Когда с кленов во дворе облетели нарядные листья, бабушка опять появилась дома: уже не маленькая, а крошенная от худобы.

Покашляла, все тише и суще, неделю и на рассвете умерла.

Горе вошло в наш дом бесшумно, словно на цыпочках. Его не сопровождали слышные всему двору рыдания. Просто у моих близких посерели лица, а я для них как бы перестала существовать. Двор нашу семью осуждал за высокомерие:

— Уж и пореветь-то перед людьми не хочет! Барыня!

Это о маме. Деда помиловали: стар. До сих пор не знаю, почему на похороны не приехал дядя Вова?

Меня отстранили от похоронной суеты, отдав под надзор соседок. Да и не испугала меня смерть: я одновременно и не понимала ее, и не боялась, привыкнув гулять на кладбище.

Бабушка в гробу выглядела спящей и словно бы старалась занять как можно меньше места.

Опекавшая меня соседка, Александра Степановна, опасливо покачала головой:

— Гроб-то велик! Грех! Не дай, Господи, еще смерть кого взьмет...

А мне было жаль не бабушку, а обрезанный куст белых хризантем, что как по заказу расцвел на окне в светелке. За те немногие годы, что мы прожили рядом, близким мне человеком бабушка так и не стала...

Беда привела к нам в дом Николая Андреевича. Хорошо помню свой эгоистический страх при виде его высокой сутуловатой фигуры: «А вдруг он теперь будет жить с нами?» Однако Николай Андреевич, переговорив о чем-то с мамой, ушел.

Мама по-прежнему не плакала. Дед — тоже. Приход смерти в наш дом ничем не напоминал дворовые рыдалые похороны. Соседки осуждающе шептались. Все та же добрая Александра Степановна робко намекнула:

— Батюшку бы позвать...

Мама как отрубила:

— Незачем! У нас верующих нет.

Александра Степановна молча перекрестилась.

Сухим примороженным утром четвертого октября мама с Николаем Андреевичем пошла за венками. На перекрестке он внезапно споткнулся и упал — умер от инфаркта. Реанимации в те времена не существовало.

Цыганка не обманула: успокоился навсегда.

Кто бы только мог предположить, что через полстолетия в том же возрасте и в тот же день умрет его сын, Андрей?

После смерти бабушки и Николая Андреевича дом наш начал рушиться. Исчезло пианино. Затем — ореховый гостинный гарнитур, «собиратель пыли», как звал его дед.

В доме стало просторно и почти всегда тихо. Именно тогда у меня появилась привычка все время напевать что-то. Чаще всего — оперные арии, с трудом доносимые хриплой черной тарелкой репродуктора. Пением я пугала тишину. Взрослые меня не понимали.

Мать осаживала: «Ты врешь!» — и была права.

Соседки осуждающие качали головами.

— Счастье пропоешь!

Маленькому Андрейке мое пение нравилось. Хотя именно он родился с абсолютным музыкальным слухом.

* * *

Гадать под Новый год наверняка придумала третья Андрейкина нянька, Поля, — большая выдумщица и отменная актриса.

Посланная в магазин, она прибегала без покупки и без денег, но с воем, слышным на весь дом:

— Ой, Валентина Владимира! Цыганка глаза отвела, деньги взяла! Ой, чего делать-то теперь?

Отправленная с малышом на прогулку, могла спокойно занести его к своей «коке», жившей на соседнем дворе с кучей собственной детворы, а сама уходила шляться по городу. Да мало ли что еще посещало бедовую Полину голову с рыхими вихрами!..

Однажды дед спустил ее с лестницы. Она променяла присланную дядей Вовой из Ленинграда Андрейкину кофточку на билет в кино. Реву и громогласного раскаяния тогда хватило на весь дом.

Но только не зря говорят: горбатого могила исправит. Поле хоть кол на голове теши — не унималась.

Мама и дед пошли встречать Новый год к каким-то уцелевшим «бломкам империи».

Мне велено было спать. Предполагалось, что и Поля, уложив Андрейку, угомонится.

Однако она тут же привела троих девчонок из нашего дома, и вся компания расположилась гадать возле большого туалетного зеркала в светелке. Второе зеркальце откуда-то принесли. Свечи позаимствовали у деда.

Однако, кроме визга и толкотни, у девчонок ничего не получалось. Возня им скоро прискучила, и они куда-то умчались. Тогда к зеркалу подобралась я, настроила все как надо и стала смотреть в сужающийся светлый коридор. Он не испугал меня, а показался дорожкой в мою заповедную страну. От окна дуло, свечи горели неровно, и по комнате бродили тени, но не пугающие, — привычные и добрые.

Кажется, времени прошло совсем немного. В глубине зеркального коридора заклубился туман, волокнистый, седой, совсем настоящий. Потом он рассеялся, и появилась маленькая, но очень четкая картинка: высокий каменистый утес. Насколько он высок, я сообразила не сразу, но все же поняла, что небрежно разбросанные по водной глади у его подножья игрушечные кораблики — настоящие морские корабли.

На вершине утеса — девушка.

Ветер треплет шарф на шее и густые, но тонкие волосы, забранные на затылке в пучок. На девушке — темное облегающее пальто, и видно, что при ее росте она полновата.

Ни сверхъестественного, ни особо интересного картиинка в себе не таила, и я отвернулась. А когда глянула в зеркало снова, там уже зияла светящаяся пустота.

Ясно, что вернувшиеся девчонки мне не поверили. Взрослым я не стала рассказывать сама: слишком часто попадало мне за «бесплодное фантазерство».

Только семнадцать лет спустя, приехав в Магадан и забравшись на прибрежную сопку, я все вспомнила и поняла, что видела тогда саму себя.

Было ли то предупреждением судьбы — не знаю.

Про гаданье, конечно же, узнали, мамино терпение лопнуло: Поле указали на дверь. Судьба ее не завидна: в военные годы я встречала Полю на Сеннухе, чаще всего нетрезвую и с мужиками последнего разбора.

А у нас появилась Настя — еще одна деревенская беглянка. Тихая, но ярая поклонница Любови Орловой. Совершенно ясно, что по этой причине делать что-либо с толком у «хозяев» она не могла. Ведь ей мерещился собственный «Светлый путь». Она всем, кроме деда, хамила целыми днями, нагло бездельничала. Впрочем, старательно и многотрудно училась в вечерней школе.

Сейчас я думаю: скольким хорошим деревенским девчонкам сломал жизнь победный полет Орловой в коммунистические небеса?

Маловыразительное, плоское и белесое лицо Нasti озаряла удивительная, сияющая улыбка, когда она вспоминала, как дома выхаживала теленка:

— Сам-от малой-малой, глупо-ой, а губам-от за палец, да и сосет! Думает, титька маткина... А я яго глажу, лоб-от у яго кудрявой...

Настя со временем одолела семилетку, кончила школу поммастеров, и позже годами я встречала на улице обыкновенную костромичку со смутно недовольным лицом. В небеса не взвилась, но и беда ее обошла: работала, вышла замуж, подняла двоих деток. Только никогда при разговоре не вспыхивала на ее рано постаревшем лице памятная улыбка. Телята остались в деревне и, наверное, тоже страдали без Настиных рук.

В тот вечер я возвращалась из садика в унылом настроении

нии. Опять задала «не тот» вопрос! Последнее время это случалось со мною часто.

Воспитательница Анна Васильевна, большая прилежница, рассказывала нам о ссылках Сталина, и мне пришел в голову простой вопрос:

— А почему его ни разу не поймали? Всех ловили, а его — нет?..

Анна Васильевна закатила глаза.

— Это становится невыносимым! Пусть тебя дома воспитывают, если ты такая умная!

Именно этого, я знала, хотел уже не работающий теперь дед, но сопротивлялась мама. Она все еще тешилась иллюзией вылепить из меня, с помощью садика, истинно советского ребенка...

Так или иначе, я чувствовала себя виноватой и к двери нашей прокрались киской. Сразу услышала сильный незнакомый мужской голос:

— Ты помнишь Панга? В него всегда били молнии. Забраться на камень было интересно, но можно ли там жить? А я вот живу на самой вершине Панга. Как ни ломай голову, не угадать, кого унесет очередной удар! Ни системы, ни смысла, дикая жестокая неразбериха и всеобщая беззащитность. То исчезают самые талантливые, то — безобидные служаки, даже дураки... Как-то вырвался под отчий кров, а здесь все то же, только масштабы другие. Самоуничтожение системы!

Ну сколько можно торчать под дверью! Я вошла. И мгновенно узнала это длинное, бледное и суровое, лицо: человек с парохода!

Я ждала только, чтобы нас познакомили, мне запрещалось первой заговаривать со взрослыми. Тогда уж я бы все рассказала!

Но дед с печальным, растревоженным лицом сунул мне в руки навеки запретную вещь — «кокоболо», шведский набор тончайших слесарных инструментов.

— На, зайдись!

Это означало: как всегда, мне среди взрослых места нет.

Я грустно побрела восвояси, а за моей спиной, не менее напряженно, зазвучала теперь уже французская речь. Сколько за эти годы она скрыла от меня бед и огорчений семьи?

Только когда гость ушел, я узнала, что это навестил нас приехавший из Москвы в Кострому тот самый Федор Трухин, которым боязливо гордился его стареющий отец.

Мамин друг детства и несостоявшийся нареченный жених.

Блестящий «военспец» и в будущем — изменник родины, правая рука Власова.

Смешливый выдумщик-гимназист и горчайший пьяница, известный в РОА под кличкой «Большая Федора».

Составитель «Воззвания к русскому народу», под которым сегодня, ничтоже сумняшеся, подписался бы любой демократ. Маленькая только закавыка: свободу-то эту добывать собирался он с помощью Гитлера, наверняка понимая при том, что хрен редьки не слаше. Потому и пил...

Как мне его осудить?

Мальчик в матросской шапочке смотрит на меня с камня Панга веселыми озорными глазами. Они не таят и капли зла. Незабываем и прыжок со смертельным риском ради спасения чужой женщины и ребенка. И голос его, больной и страстный, остался в душе навеки. Теперь-то я понимаю: пришел, затравленный, выплакаться тем, кому еще мог доверять.

Он погиб в позорной петле виселицы и, думаю, одним этим искупил свое невольное предательство.

Но какую пользу мог бы принести его светлый, опережающий время, разум нашей слепой стране!

И какой бы оказалась мамина кривая судьба, не разнеси их жизнь так рано и необратимо?

* * *

Странно, но все разговоры о финской войне меня не затронули. Я не понимала самого слова «война». Хотя как раз одолевала «93-й год» Гюго, где лилось достаточно крови. Впрочем, книжная кровь — водица.

Кроме того, хотя многие ушли на фронт, ощущения всенародной беды не было. Отчасти потому, что газеты и радио трубили о близкой неминуемой победе и жалкой слабости врага.

С нашего двора на войну ушло четверо мужиков. По воду одного — блажного в пьянстве Лехи Бубнова — вздохнули с облегчением и недобрым пожеланием: «Хоть бы убили...» Но жалели Николая Слезкина, мужика работящего и детного, почему-то напросившегося в добровольцы.

На первом этаже нашего дома сохранилась бывшая ку-

печеская поварня с большой русской печью. Ныне она стала общей домовой кухней. Русскую печь топили в складчину и до отказа набивали емкую печную утробу противнями. А пока печево доходило, пели на голоса. Откуда-то прибрела и утвердились в бабьем репертуаре нелепая песня: «Среди Манжурия и Китая стояла родина моя. Отец мой был природный пахарь, а я работал вместе с ним...»

Вроде бы к замерзвшим в финских снегах солдатам она не имела отношения, но звучал в ней особый, сиротский и вдовий, надрыв. Словно предчувствие больших грядущих бед. В кухне из скупердяйства держали самую маленьющую, еле светившую лампочку. Пыльный свет бледнил и без того прежде времени увядшие женские лица. Надтреснутые от вечной ругани голоса звучали замогильно. Мы, ребятишки, не любили общую кухню. Нам принадлежали чердаки и сарай-каретник во дворе.

Над сараем тоже тянулся чердак, а в самом давно разгражденном каретнике жили свиньи, козы и даже одна корова. Куры в счет не шли. Казалось, они существуют везде и как бы сами собой.

Теплый живой пар согревал чердак, там и зимой нам жилось хорошо. Однажды воскресным днем на чердак не взобралась — слепо вползла неприметная белобрысая девочка, Соня Слезкина.

— Па... па... пку убили!

Я только что закончила рассказ об очередном залихватском подвиге русского сыщика Мефодия Кобылкина. Трапаную книжонку о нем я нашла в банном шкафчике и предусмотрительно прятала от домашних: мне не возбранялось брать любую книгу в дедовой библиотеке, но попадало за чтение «бульварщины».

Я понимала, что книжка — глупая, но уж очень нравились ребятам похождения «русского Шерлока Холмса». Его только что собрались погубить, привязав к винту корабля, как вдруг — Соня...

Мы замерли. Соня, размазывая слезы по золотушным щекам, все повторяла:

— Па... пку убили! Па-пу убили!

Рыжий Генка Кипятков вдруг сорвался с места:

— А моего?!

Кубарем скатился с чердака и помчался в родной задымленный подвал, будто его вечно склоненная над корытом мать знала волшебное слово, могла успокоить. И остальные

покинули чердак, словно и забыв про меня и сыщика Мефодия Кобылкина.

Происходило то же, что бывало и в садике. Слушать рассказы хотели все. Мною самой — не интересовался никто. Отвлеченные чем-то извне, ребята обо мне забывали и словно бы даже побаивались. На задиристом нашем дворе меня никогда не обижали.

Я осталась на темном чердаке одна и некоторое время прислушивалась к ровному дыханию коровы в стойле подо мною, к суетливой куриной возне.

Мне вспомнились случайно подслушанные слова той барыни, что не хотела заботиться о себе сама:

— У этой девочки вместо сердца — льдинка.

Она ошибалась! Я и видела, и чувствовала чужие беды! Но любое переживание почему-то замыкалось во мне и не переходило ни в слово, ни в деяние.

Вот и сейчас: мне бы взять за руку и увести домой зареванную Соню, утешить ее конфетой... Но я замерла, промолчала, а Соню увела веснушчатая Зоя, у которой конфет не водилось.

Когда я прибрела домой, оказалось, что приехал дядя Вова. Внезапно. Без предупреждения. И потому в доме царила легкая суматоха, а обо мне, похоже, забыли.

Дядя Вова очень изменился за то время, что я его не видела. Лицо осунулось и приобрело желтоватый оттенок. Стекла пенсне блестели ярче глаз. Он положил на стол большую, в коричневом переплете с серебряными буквами, книгу «Фауна СССР».

А еще — зеленую коробку с милой Аленушкой и плетенку с засахаренными фруктами.

Сладости, конечно же, привели меня в восторг, но как было обидно, что на дворе зима и мы не можем пойти в лес!

Когда сели обедать, перед дядей Вовой оказалась бутылка с надписью «Коньяк». В нашем доме винных бутылок я не видывала.

Это на дворе они не переводились...

Я смотрела на дядю Вову с недоумением и не узнавала: зачем ему эта бутылка? Почему он не обращает внимания на меня?

Дядя Вова выпил рюмку, лицо его судорожно дернулось и покраснело. Почти сразу налил следующую, и случилось нечто вовсе жуткое.

Пальцы вдруг, словно бы помимо его воли, стиснули тон-

кое, но прочное стекло с такой силой, что рюмка разбилась. Резко, отвратительно запахло спиртным. На дворе я всегда убегала от этого бедственного запаха, а тут — не могла двигаться с места. Лицо дяди Вовы пересекла судорога, а тело неуправляемо задергалось.

— Бакин! Тебе нужно лечь! — кинулась к нему мама.

— Оля! Иди к себе! — скомандовала не терпящим возражений тоном.

Я ушла в светелку. Там, на единственном в нашей квартире солнечном окне, тянулись к свету все лучшие маминые цветы. Даже зимой доцветала веселая махровая фуксия.

В углу томились наши с Андреем изломанные игрушки. Я ими просто не интересовалась, а Андрейка каждую стремился раскурочить до последнего винтика. Только собрать заново еще не умел.

Не до игрушек мне было: я прислушивалась к тому, что делается в большой комнате, но там все стихло. В конце концов, не выдержав неизвестности, я на цыпочках прокралясь к двери и сунула в щель нос.

Поданный мамой обед остывал на столе. Дядя Вова спал на дедушкином «турецком» диване, в безбрежности которого выглядел мальчиком. Дед сидел рядом, понуро опустив плечи, а мама постукивала пальцами по столу, словно вспоминая забытую мелодию.

— Дядя Вова заболел, ты не тормоши его, ладно? — попросила она меня.

Но дядя Вова как раз в эту минуту открыл глаза и резко сел, озираясь, как человек, не понимающий куда он попал. Впрочем, недоумение продлилось лишь секунду.

Увидел меня и странно, рассеянно улыбнулся.

— Есть, есть кое-что и для тебя! — сказал он как-то уж слишком бодро. — Но это потом, а сейчас, по-моему, самое время выпить рюмочку.

Мама только прерывисто глубоко вздохнула, дед беспомощно пожал плечами.

Я чувствовала себя настолько напряженно, что на всю жизнь запомнила: в тот день подала мама форшмак из селедки, бульон с фрикадельками и судака по-польски.

Немощные лучи зимнего солнца отражались в дымчатом венецианском стекле лишь ради красы поставленных на стол рюмок.

Кроме дяди Вовы, из них не пил никто.

Он же, выпив еще, как-то не в лад одиноко, шумно раз-

веселился. Сначала стал читать пародию на знаменитые стихи Гумилева «Жираф»:

У истоков сумрачного Конго,
Возле озера Виктория-Ньянца
Под удары жреческого гонга
Он свершал мистические танцы...

Бормотанье, завыванье, пенье
Под конец переходило в стоны...
Но взирал на все без удивленья
Пестрый пес, подарок Ливингстона.

После вынул из портфеля листок со множеством рисунков — историю слона, наказавшего своего нерадивого погонщика. Это и было то, что предназначалось мне. Не знаю, выпускались ли в те времена комиксы, но у дяди Вовы получались они отлично.

К рисункам прилагались и стихи, из которых уцелели в памяти только две строчки:

В Синегамбии жил слон.

Раз гулять выходит он...

Дядя Вова бурлил, а у дедушки взгляд все более напоминал безмолвную жалобу наказанного пса.

Мама сидела очень бледная, опустив голову.

Вот-вот должна была вернуться с Андрейкой очередная наша нянька Капа. Обед, можно сказать, остался нетронутым.

Во дворе не в лад гудели две гармошки: это упившиеся мужики по-своему поминали Николая Слезкина. Подывали бабы...

Внезапно дядя Вова сообщил скучным голосом:

— Жене дали восемь лет. Больше я ничего узнать не смог. И это-то едва-едва выведал... Дочь участника Кронштадтского мятежа. Ну кем она может быть? Конечно же, террористкой... Даже передачу не приняли.

— Бакин, но ведь и мы не знаем, что будет с нами завтра... — вздохнула мама.

Впервые за прошедшие при мне годы взрослые говорили о своих делах по-русски. Меня они словно бы и не замечали.

И я, тоже впервые, увидела вдруг, что дедушка состарился: у него под глазами — черные мешки, и пальцы дрожат. А у мамы меж бровей залегла глубокая морщинка.

— Уезжаю в Таджикистан, — тускло сказал дядя Вова. — На Памире еще много белых пятен, куда наш брат, энтомолог, ноги не заносил. Оставаться дольше в Ленинграде невмочь.

— Но твоя докторская? — заикнулась все же мама. — Ведь ты писал, что о твоей «Фауне...» заговорил весь научный мир. Письма из США, из Англии — они ведь что-то значат!

— Безусловно, значат, и настолько много, что как бы их не пришлось читать в Крестах! — нехорошо улыбнулся дядя Вова. — Мы все под дамокловым мечом...

Он налил себе очередную рюмку, и никто ему не прекословил.

В коридоре с грохотом опрокинулась прислоненная к стене ванночка, в которой купали Андрейку. Это означало, что Капа возвращается с прогулки. Таким уж свойством наделила природа эту неунывающую хохотушку: все ронять и ломать.

До появления у нас Капа жила у вечно хмельной тетки, которая «вгоняла ей науку в задние ворота». По-моему, без успеха. Обитали они в подвале соседнего с нашим «михинского» дома. Мама просто пожалела девчонку-неделуху.

Себе на горе.

Интересно то, что к ней, первой из всей череды нянек, сразу и навсегда привязался Андрейка. Он очень любил с ней гулять.

Сейчас они возникли на пороге комнаты, оба одинаково розовощекие и сияющие с мороза.

Так и запомнились мне два мира. Один: пепельные лица взрослых в темной тяжкой раме дубовой мебели нашей столовой. Английские стенные часы бархатным голосом отсчитывали минуты жизни этого мира. Второй: два сияющих, одинаково беспечальных лица, для которых время не существовало.

Сама я тогда впервые ощутила его ход, и сердчишко сжалось тоскливо от предчувствия многих грядущих бед.

...Дядю Вову мы проводили к вечеру того же дня. Его гнала неистовая тоска. Дедушка с нами на вокзал не пошел, остался дома топить печку. Пошла мама, а я катилась следом, ловя отдельные слова их разговора.

Запомнились мамины:

— Бакин, а что будет, если с тобой в горах случится при-

падок? Ты же видишь: эпилепсия вернулась. А ты еще и пьешь...

И дяди Вовины:

— Ничего теперь не имеет значения, Бинки! Ничегонеченьки!

Мороз и на самом деле рассвирепел к вечеру, но от безнадежности услышанного вовсе до костей пробирал.

На бестолково многолюдном и шумном вокзале говорить уже стало невозможно. Толкались, били по бокам коваными угольниками фанерных чемоданов могучие девахи, бежавшие из колхозов на очередную ударную стройку. Парни с хохотом и присвистом ловили бесхвостую курешку, удравшую от очумелой среди многолюдья старухи.

Дядя Вова приподнял мою голову за подбородок, притупливо заглянул в глаза.

— Ух, какая серьезная! Стихи-то писать будешь? Как же иначе в нашей семье?

Я не посмела сказать, что уже низаю рифмы в уме, только записать придуманное не умею.

— Ничего! Приеду в следующий раз — ты уже все поймешь.

Привезу тебе свою тетрадку со стихами о Памире. Жди!

Поцеловал маму.

— Держись, Бинки! Помни о Панге!

Последним вскочил на подножку тронувшегося поезда: маленький, широкоплечий, курчавый — ни на кого не похожий.

Если бы знать, что вижу его в последний раз!

В сорок шестом, затравленный как «вейсманист-морганист», он при так и не выясненных обстоятельствах погиб на Дальнем Востоке в бухте Ольги... Ему едва исполнилось сорок шесть лет. Второй том «Фауны СССР» остался незаконченным. Первый — сегодня стал классикой энтомологии.

На последней фотографии из «персиковой коробки» дядя Вова снят за работой. Направленный луч света падает на то, что он рассматривает в лупу. Скорее всего, объект дяди Вовиных исследований — та самая мушка-дрозофила, что сгубила всех генетиков и его в том числе. Кудрявая голова низко склонилась над столом. Готическая резная спинка стула невольно напоминает трон. Тот, что принадлежал ему в науке по праву.

По возвращении домой, я еще на лестнице учゅяла запах дыма. Огня — панически боялась с младенчества. Я вцепилась в мамин рукав, она же бегом кинулась наверх.

Когда открыли дверь, оказалось, что в квартире не проходнуть.

Мама опрометью помчалась в светелку мимо дымящей печи: где Андрейка? Но ни Капы, ни его дома не обнаружилось. Как выяснилось чуть позже, Капа ушла к нижним соседям играть в лото. Забрала с собой и Андрейку.

Дед лежал на полу, неловко подвернув руку. Лицо у него было чужое, страшное, чугунное. Его вид отбросил меня к двери.

Мама прежде всего распахнула форточки, вынула забытую дедом выюшку из печи. Велела мне коротко:

— Нашатырь! Быстро!

Искать было недалеко: из-за частых угаров он у нас не переводился, всегда стоял близко, под рукой. Я принесла бутылочку.

Только помочь она уже никому не могла: дедушка скончался от инсульта.

Бог весть, что было его последней мыслью?..

Похоронили тихо. В одну могилу с бабушкой. Так сам хотел.

От безнадежной похоронной суэты мама и в этот раз меня отстранила. Может быть, предчувствовала неотвратимую цепь похорон друзей и близких? Не знаю... Над общей могилой тогда поднялась легкая белоствольная береза. Теперь это — огромное, изъеденное чагой дерево, а могилы нет.

Ее, как и сотни других, в одночасье сравняло с землей ретивое начальство ради создания парковой зоны вокруг местного «вечного огня».

От огня этого сегодня прикуривают сигареты юные бизнесмены, а на бывшем кладбище радостно цветет и множится сыйтый бурьян.

Так или иначе, со смертью дедушки обрывается первая история «персиковой коробки».

Вторая начинается через годы, через войну и голод, и она уже совсем иная. Когда-нибудь и для нее наступят сроки...



ВСТРЕЧА

Рассказ



Она вышла на улицу, еще не зная, куда пойти. Весенний вечер долог. Люди возвращались с сопок, неся в руках букеты бледно-золотистых цветов. Их лепестки казались сотканными из света белых ночей Колымы. Ей захотелось увидеть цветы самой, близко. Она знала одно тайное место. Кроме нее, там не был никто.

— Вы спешите? — спросил, нагоняя ее, знакомый голос. Она не удивилась встрече. Еще не видя его, внутренне была готова к ней. Хотя знала: именно сегодня они могут и разминуться в своем странном мире.

Их давно уже разделял мир маленьких, но непреродолимых расстояний. Сначала они даже не знали имен друг друга. Потом она услышала, как его окликнули по имени на улице. А в другой раз, собравшись с подругой в кино, почувствовала, что он идет сзади, но

не решалась оглянуться. Конечно же, с тех пор он тоже узнал, как ее зовут...

Они встречались на улице часто, почти каждый день. Незаметно начали перебрасываться незначащими словами. Но ни он, ни она так и не решались переступить через порог привычных условностей.

К тридцати годам любая человеческая жизнь напоминает хорошо снаряженный поезд, которому только и остается — катиться по знакомому пути. Работа, деловые встречи, привычный быт... С этих рельсов человека сбить не легче, чем тяжелый состав.

— Вы спешите? — спросил он негромко.

— Нет... Просто хочу набрать цветов, а за ними надо еще идти, — чуть настороженно ответила она.

Он поравнялся с ней.

— А меня... — начал он неуверенно и смолк.

Она перевела дыхание, глянула на него искоса.

— Вы хотите пойти со мной?

— Очень хочу!

... Они шли рядом и перебрасывались все теми же незначащими внешними словами, но ей казалось, что каждое из этих слов тянет за собой невидимую нить. Переплетаясь, нити эти все крепче связывают их друг с другом. И он уже вовсе не чужой для нее: тонкий шрам у него на виске знаком ей, как тот, что у нее самой на пальце. И привычка заламывать бровь так же необходима, как ее собственная — поправлять непослушные волосы.

Они миновали шоссе и очутились у необъятного подножья пологой сопки.

— Куда же теперь? — спросил он и впервые взглянул ей в глаза быстрым теплым взглядом.

— Вон, где вершина и, видите, одинокое дерево возле. Туда... — ответила она не сразу.

— Но там же ничего нет!

— Увидите...

Серые камни громоздились один на другой. Лишь изредка мелькали между ними зеленые клочья мха. Он шел первым, и само собой вышло, что она держалась за его руку. Он молчал, но она чувствовала, как бе-

режно предупреждают его сильные пальцы малейшую опасность, и радовало чувство защищенности. Она забыла о конце пути, не хотела его, но они все-таки пришли.

Над морем среди мертвого камнепада притаилась зеленая поляна, и вся она принадлежала одному дереву. Много сотен лет тому назад на вершине сопки, где и рости-то ничего не должно, выжила лиственница. Подняться ввысь она так и не смогла. Зимние штормы срезали вершину, и от всей лиственницы уцелел только могучий ствол с одной-единственной ветвью. В ней одной жила вся красота и сила дерева. Иглы на ветви были длиннее и пушистее обычного, и цвет иной — слегка синий, словно бы прозрачный. Корни лиственницы раздробили окрестные камни, вода и ветер до кончили дело, и теперь рядом с деревом тянулась к небу молодая лиственничная поросль, цвели диковинные по высоте золотистые рододендроны. Многоцветковые их кисти слабо светились в сумерках.

А под обрывом шумело море — шел прилив, и вода торопилась вернуться в свои покинутые владения. Мелкие волны набегали на камни, ощупывали их со всех сторон, переговаривались негромко, считая им одним ведомые потери.

Она разостлала куртку и прилегла, закинув руки за голову, под лиственничным шатром. Сколько раз ей приходилось бывать здесь прежде, и никогда она не находила следов других людей. Это место принадлежало ей одной. А сейчас рядом с нею, но не касаясь ее, лежал человек, которого она сама привела сюда. Ей было покойно и легко, как никогда. Шумело море, медленно перекликались ночные птицы. Она и не заметила, как задремала.

Утренний, белый и холодный свет постепенно затоплял звезды. Иные тонули в нем сразу, без борьбы, другие сопротивлялись, мерцая.

Он следил за ними сквозь сетку ветвей. Ему казалось, что звезды тонут с легким, чуть слышным, всплеском, как бы проламывая весенний ледок.

А внизу, повторяя небо, лежало море, и в нем тоже

тонули звезды. Оно было удивительно ясным и тихим. Только по дальнему берегу бухты неширокой, странно синей полосой лег не то дым, не то туман, отрезав сопки от подножья. Сопки повисли в небе сизой тучей, словно бы угрожая издали миру света и тишины.

Он тронул ветку лиственницы над головой, и она брызнула дождем спелых росных капель. Он вздрогнул, но странное состояние не прошло. Все в нем было обострено до предела. Он мог услышать шелест тонущих звезд, рост травы, невидимый ход рыбьего косяка под спокойной гладью моря. И только одного не мог: повернуть голову и глянуть на женщину, что лежала рядом. Так близко и так далеко!

Шли томительные минуты. Вот и последняя звезда утонула в алом разливе зари.

— Ты не спиши? — осторожно спросила она. И все это: сам ее голос, вопрос, а больше нежданное, как подарок, «ты» — почти испугало его. Он затаил дыхание и не отвечал, смутно чувствуя: любые слова — ничто перед тем, что сейчас должно произойти.

— Иди сюда... — позвала она гаснущим голосом, словно бы из невыносимого далека.

Он повернулся и увидел, что она сидит, прислонившись к стволу дерева. Руки стиснули наперекрест зябкие плечи. В ней боролись решимость и страх. Малейшее неловкое движение могло спугнуть ее, как птицу, присевшую на окно.

Он мягко притянул ее к себе одной рукой, другой взял ладони и прижал к губам, согревая дыханием озябшие пальцы.

И опять потекли не то минуты, не то часы. Вдруг она коротко вздохнула, высвободила руки и, зажмурившись, прильнула к нему всем телом.

Только тогда он молча стал целовать ее: сначала недоверчиво, боязливо, потом страстно.

Сейчас каждое ее движение стало открытием целиком мира. Она положила голову к нему на плечо, и щека коснулась щеки — перехватило дыхание от

скользящей мягкости ее кожи, от лесного дурманяще-го запаха ее волос. Она провела пальцем по бровям, разглаживая их привычный крутой излом — простое, нечаянное движение. Но оно лишало его власти над собой.

А дальше — исчезла она, исчез он. Вся его жизнь, все пережитое растаяло в это мгновение вместе с предрассветной мглой. Осталось только море, небо и ее глаза, огромными черными зрачками отвечавшие на каждое его движение.

Он молча целовал ее шею, плечи и шелковистую впадину между грудей. Слова приходят, когда счастья еще нет или оно уже позади. В это единственное, древнее, как сама земля, мгновение они бессильны.

Молчала и она, а из светлых, широко раскрытых глаз катились слезы.

Он заметил это не сразу. Потом встревоженно поймал ее взгляд.

— Я обидел тебя?

— Нет... Просто мне слишком хорошо. Так не бывает.

— Я и сам боялся, что ко мне это не придет уже никогда.

— Но...

— Да... Я был женат. Давно. Мы разошлись, не прожив вместе и года. Никто не мог понять — почему? Не знал и я сам, просто стало скучно. Теперь я понимаю: я никогда не видел жену такой, какой вижу тебя сейчас. Я не помню ее как женщину. И себя не помню тем, прежним. Ты... Ты — моя женщина, мой человек, мое все! Я не жил до тебя...

Он снова обнял ее, прижал к груди и стал уже медленно, как бы присматриваясь к ней издалека, целовать ее глаза, лоб, легкие волосы.

А потом они спустились на берег. Она положила голову к нему на плечо и закрыла глаза. Вздрагивали голубые усталые веки.

Берег кончился возле черной скалы, далеко врезавшейся в море. Дикая сила штормов изрешетила ее скло-

ны пещерами, где жили птицы, но так и не одолела скалу. От ее подножия тропинка вела вверх, к городу.

Они остановились среди высоких древних валунов. Камни намертво срослись неровными ребрами в бархатной шкуре из мха и лишайника. Это было последнее место, принадлежавшее только им двоим.

Еще несколько шагов... Но город не появился. Вместо него до краев заполнило каменную чашу синее туманное озеро. На дальнем его берегу белел одинокий домик, но и он, казалось, не принадлежал людям. Белое пятно, напрасно смотряющееся в непрозрачную синюю гладь.

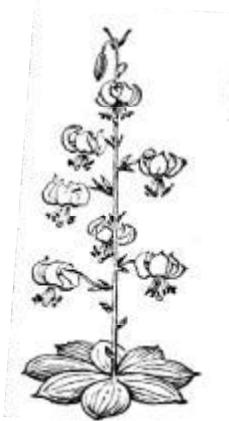
Они вдруг почувствовали себя первыми поселенцами на берегу неведомой земли. Нет города, нет назойливых встреч, нет изматывающей ежедневной сути. Всего того, что еще вчера раздражало и тяготило. Но ни его, ни ее не обрадовала мысль об одиночестве, о фантастическом освобождении. Им уже хотелось к людям. Потому что любое человеческое чувство обретает глубину лишь в сравнении с окружающим миром. Они не могли бы выразить это словами. Просто чувствовали.

По синей поверхности озера пробежала рябь. Оно дрогнуло и, прорвавшись через отбитый край каменной чаши, хлынуло в море.

На обнажившемся дне возник утренний город.

СОДЕРЖАНИЕ

М. Базанков. Дверь в волшебную страну	3
СЕМЬ ВЕСЕННИХ ГРОЗ. Повесть.....	7
ПЕРСИКОВАЯ КОРОБКА. Повесть	87
ВСТРЕЧА. Рассказ.....	193



Ольга Николаевна
Гуссаковская

ПЕРСИКОВАЯ КОРОБКА

Издания Костромской писательской организации осуществляются в связи с принятой региональной программой изучения русской литературы.

За справками обращаться по адресу:
156005, г.Кострома, пл. Конституции, 1.
Костромская писательская организация.
Телефоны: 57-21-91, 57-35-02.

Общее и художественное
редактирование — М.Ф.Базанков
Художник — М.Ф.Базанков
Техническое редактирование, компьютерный
набор и оригинал-макет — А.М.Базанков
Корректура — Е.А.Разумов

Повесть «Персиковая коробка» — в авторской редакции.

Издание осуществлено при участии
Костромской областной администрации и городского
самоуправления.

Сдано в набор 07.04.97г. Подписано к печати 22.05.97г.
Заказ № 4547 Печать офсетная.
Объем 12 п.л. Тираж 2000 экз.

Отпечатано в областной типографии им. М.Горького
управления по делам печати и массовой информации
администрации Костромской области,
г. Кострома, ул.П.Щербины,2.